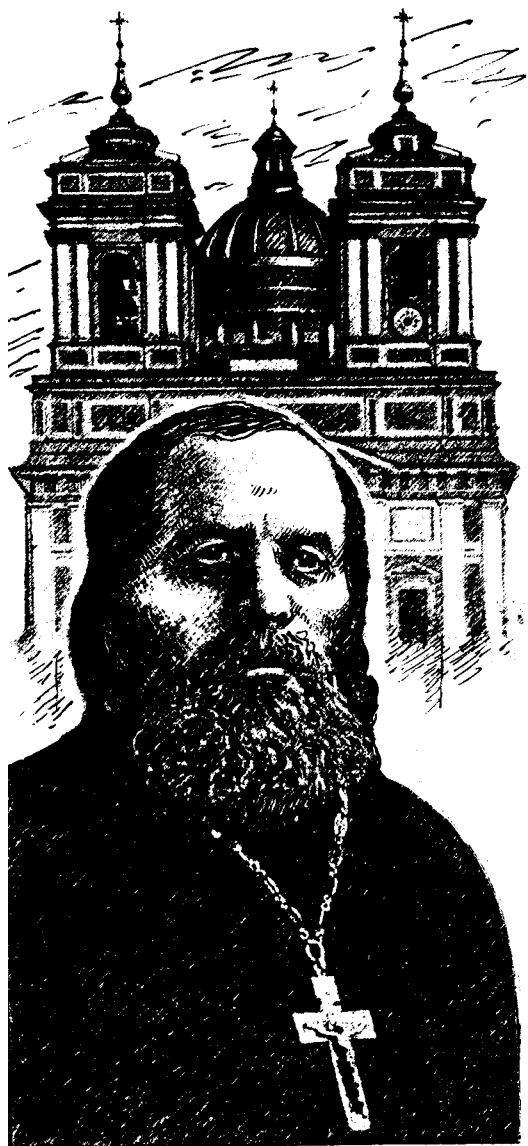




Начало конца



Часть первая

Начало конца

*Там, за далью непогоды
Есть блаженная страна —
Не темнеют неба своды,
Не проходит тишина.*

Этап

Ясным осенним утреником, немного ранее семи часов, когда по канавам ярко блестела посеребренная инеем полынь, к Иркутску подошел длинный товарный состав с прицепленными к нему двумя арестантскими вагонами. Шел он от Ленинграда всего двенадцать суток, нигде, кроме Омска, долго не стоял и нигде с пересыльными тюрьмами не сливался. Все прибывшие ссылались в Восточный распределитель для отправки в дальние села Сибирского края. Арестантов перекликнули, пересчитали, выстроили парами и повели через понтонный Ангарский мост по низовьям города в Ушаковку.

Этапом шел «сбор дружины всяческой» — две женщины из Вологды, злостные спекулянтки, два растратчика, несколько налетчиков, еще четверо: трое женщин и мужчина с судимостью за крупные кражи. Немного отставал на ходу полный бухгалтер с тяжелой одышкой. Ему мешало не по сезону теплое пальто, и он тащил его почти волоком, спустив чуть не на локти всю тяжесть скунсового воротника. Позади всех шел болезненного вида юноша с серовато-бледными губами — видимо, давний арестант. В паре с ним, замыкая шествие высокой заметной фигурой и еле поспевая за быстрым ходом этапа, шел единственный политический ссыльный — академик-священник. Сильно горбясь и задыхаясь, он нес небольшой чемоданчик в одной и продуктовый узелок в другой руке. Сибирский утреник раздражал его грудь, давно отвыкшую от далеких прогулок и воздуха. В поезде он мечтал об обязательном переходе по городу от вокзала в тюрьму. За полтора года заключе-

ния он отвык от уличного шума, а его глаза как бы вновь поражала беспредельность небес. В вагоне ему казалось — вот он выйдет на улицу, вот он крепко станет на твердую почву после двенадцатисуточных поездных толчков — и все пройдет. Не будет спертого воздуха и духоты... Сразу исчезнут частые стеснения в груди, головокружения. Но когда он вышел дрожащими, не своими, ногами на вокзальный задворок, откуда их направляли к мосту, то ощутил необычайную слабость, а за нею тяжесть в руках и ногах, как от выпитого вина. В голове кружило и шумело. Странная неустойчивость тела встревожила его. Дойдет ли или упадет? Сказать что-либо о своем состоянии он даже и не думал и шел с одной только мыслью: «Надо, надо, надо дойти».

Сибирь встретила новых гостей своей дивной стороной, чудесным погожим утром. Солнце всплыло над городом, заблестели крыши, окна. Золотом вспыхнула водная гладь Ангары. Над проходящими раскинулся небосвод таких васильковых оттенков, какие свойственны крымской весне либо байкальской осени. Незнакомая никому, неизведанная Сибирь на миг ласково улыбнулась отчизной. На гористой окраине города осенние деревья желтели янтарными фонариками. Вот и Ангарский мост.

Ослепила, запенилась, закипела Ангара прозрачно-зеленоватой влагой. Надо бы такую реку сковать броней, запереть чешуями и сводами чугунных перил, а тут через нее доверчиво пролегли обычные деревянные сваи, а низковатые перила прерывались опасными пролетами. Глазам открывалось каменистое, обманчиво близкое дно — глубиной до девяти-двенадцати сажен.

Проходя мост, все вдруг подбодрились, заговорили. Влага ли ангарская сочetalась с воздухом в живительном вздохе, желанная ли свобода коснулась утесненной груди — но вдруг впереди кто-то засмеялся, мальчишка-налетчик шепнул солдату в ухо: «Дядька, давай покурим», — на что тот фыркнул: «Я те покурю», — и, обращаясь к задним, кто отставал, тоном старого фельдфебеля:

— На что загляделись? Реки не видели? Марш.

Идти по набережной становилось знойно, белая пыль забивала носы. Утро сразу перешло в жару. Везде мелькала пробужденная жизнь города. Женщина гроыхнула железным болтом, раскрывая ставни. Утонченному слуху, давно отвыкшему от жизненных шумов, было чудесно услышать скрип нового коромысла — шли к водокачной будке. И все новинки жизни, сибирская раздольная река, синее небо, пенье петухов, золото осенней листвы — все,

как близкая свобода, встретило прибывших, а с ними и едва поспевавшего священника.

Год и шесть месяцев то одиночного, то общего заключения сделали свое дело. Он ослаб, постарел и обвяз, но в психике не помутился. Наоборот, все воспринимал утонченно, глубоко. Он привык объективно проверять себя в нормальности своих ощущений, но тут свежая струя жизни, такая могучая и яркая, подействовала на него как бы отравой. Так бывает с голодающими, если дать им много пищи. Потоки утреннего воздуха, Ангара с ее кипеньем и грохотом набегающей, как море, волны, широкая немощеная улица, ставни, лай собак, шум струи в водокачной будке — все разнообразие этих блюд, простых для обывателей, лакомых и вредных для заключенного, чуть не свалил его с ног.

Поднимаясь в гору, к Ушаковскому перевалу, он сильно задохнулся и тронул своим узелком руку соседа.

— Устал, батюшка? — спросил тот и шепнул сбоку почти ласково. — Тише пойдем, ну их...

И пара пошла медленной, — передний конвойный заметить не мог, но второй, что шел сбоку, сразу закричал на них: «Не отставать!»

— Машинка, братец ты мой, у всех портится — шептал на ходу бедный арестант. — Я, небось, как отсидел с полгодика в исправдоме, так чуть не подох. Руки трясутся, слабые, коленки тоже, как у нервной барышни. А ведь женку шел убивать — стальной!

— Как же вы ее ... за что же?

— За мужика, за что же? Не блуди. Размахнулся и ахнул колуном. Не пикнула. Моментом! А подумать — за что жизнь сгубил? Губы мазала, брови брила — чисто клоун. Вот и сгубил себя за барахло, за рыночную ветوشку.

Не однажды за месяцы заключения слышал священник подобные речи и до сих пор не мог привыкнуть ни к нравам, ни к языку окружавшей его среды. Одно понимал: все эти люди, жалкие и отверженные — это его братья по страданию в общей доле. Им всем, как и ему, скорбно, душно, тесно, но установить между ними и собой жизненную спаянность он не мог и мучил себя упреками за свое неумение и за сознание своей отдаленности. Он вел себя со всеми просто и миролюбиво, но люди, с которыми сдружила его жизнь, не понимали таких тихих и обходительных речей. Тогда он еще сильнее мучился оторванностью от общего уровня. В нем всегда жил дар умного и тонкого проповедника, но сейчас он был далек от мысли о каком-либо проповедничестве.

Там, в той жизни, которая свернулась перед ним в узкий свиток и исчезла внезапно и бурно... в большом соборе... при стечении единомыслящих людей, да, это — другое дело. Здесь же ему казались малыми самые высокие слова, тут действовала сама жизнь возмездия и покаяния.

По дороге в Сибирь он познакомился со всеми их делами. Знал все про каждого — кто он был и за что идет с ним. Но не упрёки вызывали в нем бесхитростные сообщения о кражах, убийствах и растратах. Он только болезновал, что с этими людьми, так же как и он, обреченными на ссылку в одиночество сибирской зимы, у него нет общего языка, нет обмена мыслей, нет такого всем понятного запаса слов, благодаря которым им совместно стало бы легче дышать...

— Поп! Подгоняй! Живо! — крикнул конвойный.

День все разгорался. Давно растаял хрустальный утренник. Сильно припекало на открытых местах. Этап прошел мимо новых построек из крепкого теса. Солнечной зыбью переливалось в оконцах, становилось жарко... Спустившись с горушки вниз, вступили на Ушаковский мост через мелководную Ушаковку с ее плоскими берегами. Открылся новый горизонт — окраина города. Ее окаймляла цепь холмов, сказочно синяя, почти сливаясь с небом. На фоне этой, васильковых оттенков, выси золотом сияли сентябрьские тополя... По мосту постоянно грохотали телеги и подводы — то грузовик бубнил железными полосами, то накренился воз с сеном. Странное ощущение овладело ученым батюшкой: его глаза, отвыкшие от обилия дневного света, и его мысли, куда-то глубоко ушедшие внутрь него, снова впитывали и принимали реальное, но оно казалось не явью, а сном, призраком, небылицей... И глаза и мысли просыпались не сразу. Просыпаясь, по-новому впитывали в себя новую жизнь. В начале пути, проходя Ангарский мост, ему еще не так ясно предстала свобода, он ни о чем не мыслил, кроме отяжелевшего тела и натруженных ног, но здесь, несмотря на часовой прогон, ему захотелось как можно скорее желанного конца — воли. Здесь бы сесть на плоском лужку. Вдали купаются дети... И застыть... И привыкнуть. А то — хмель какой-то, жуткий и волнующий.

В тюрьме не было так страшно, а тут наступил острый момент: тюремная дрема, болезнь и мрак боролись с великой реальностью жизни: грузовиками, мостом, скрипом телег. А надо всем — горизонт континентального неба с янтарно-желтыми деревьями на голубом просторе... И громко перекликались петухи на перевале устроек. Нырjali дети, летели брызги. Он где-то видел такие карти-

ны, он где-то, в каком-то прошлом сне, пил из этих ярких источников. Потом наплывал мрак.

Потом смерть отошла, погрозив и дав отсрочку. И снова жизнь, какая-то новая, неожиданно отданная. Странная в своей неоформленности, стихийная и могучая для его подорванных сил. К ней надо приспособиться, приглядеться. Ее новые формы и содержание почти то же, что хмельной напиток. Осторожно, не сразу, мелкий глоток — и хватит пока...

Мост задрожал и затрясся. Вооруженные люди на громоздкой машине, кобуры, винтовки... Вкрадчиво шелестя, пролетел военный автомобиль и скрылся за двухэтажным зданием. Оно стояло на открытом месте, глядя прямо на мост многочисленными окнами в клетках железных решеток. Это и была тюрьма, домзак, или иначе говоря, изолятор Восточно-Сибирского распределителя.

Этап уже сошел с моста, будка часового была недалеко, как внезапно давно неслышанный звук проник в сознание: звонил соборный колокол, последний из неупраздненного еще храма.

— Это ранняя, — подумалось ему, — наверное к «Достоиню».

Удивительно, как достиг этот планомерный негустой звон до пастырского слуха, но он не опоздал ни на минуту, а перед самым входом в последнее заключение пропел ему радость близкой воли. Под колокольный звон этап подошел к тюрьме и остановился перед главным входом. Люди переминали ноги, ожидая распределения на посты.

Самой трудной была невозможность опустить на землю узелок и чемодан, и как раз около двери не хватало больше никаких сил. Наконец пересмотр документов окончился. Прибывших отвели за первую и вторую решетчатые двери и поставили у стенки в глубине темного коридора... Началась перекличка по фамилиям с обозначением места, куда направлялся арестант. О священнике переговаривались и недоумевали: куда его назначить — не уголовного? Все уже ушли, он один ждал назначения, смахивая рукой пыль с подрясника. «Куда бы деть попа? На втором — набито до отказа. На двенадцатом — коек нету... Ну, приставить койку... Нары все заняты...» Решили на двенадцатый. Там еще двое политических...

В темном коридоре отошли картины блестящего осеннего дня. Привычный уже для зрения сводчатый потолок. Двое служащих несли на длинных палках ведро с кипятком — утренний чай. Все поникло, сузилось, стало как в прежнем домзаке в России.

Настало мгновение отдыха. Чемоданы, узлы, сундучки свалены с плеч, погружены на скамейки, люди расположились около своих поклаж. Вдруг свисток, похожий на свирепое жужжание гигантского жука.

— В баню!

Их снова выстроили, выдав по куску мыла; кто имел, захватил с собой смену белья. Узкие коридоры острога — позади; выход на задворки изоляторских построек, где весело клевали землю два молодых петуха. Обогнули кирпичную кладку. Тут стоял забрызганный ушаковской грязью черный воронок. Оттуда — по кряжистому склону, мимо досок, бочек, кирпичей, по узкой улочке восточного типа. Снова город? Знойно, пыльно, еле двигаются одревеневшие ноги... Дошли до торговых бань, открытых с семи утра. У входа дети грызли кедровые орешки, а полуслепой старик продавал полынные венники. Были там еще три торговки с корзинами черемуховых ягод, одна из них посторонилась, пропуская этап, и внезапно увидела священника. Ее лицо задрожало, покраснело, на глаза выступили слезы. И живо, вытянув из кармана передника рубль, совала ему, пока никто не видел, и в жалости своей шептала: «Кормилец желаненький, возьми, помяни грешную Авдотью, помяни...»

Не взять — обидеть. Взять? Рядом, сзади конвойный — лицо бабюшки выражало скорбь, недоумение, улыбаясь, он благодарил и тут же отвел глаза от женщины... И даже дался плечом в сторону, чтобы только не взять. Рубль этот взял бледный, что убил жену. Ловко взял, через спину священника. И сразу их впустили в баню.

Пост № 12. Камера 124

Солнечная осень проникла и сюда в виде светлых пылевых столбов, и темное помещение с нарами, одна над другой, слегка освещаясь из окон, казалось еще непригляднее. Несмотря на общее положение всех тюрем — еженедельную баню — чистоты не прибавлялось. Правда, заключенные каждое утро по очереди мыли полы. Но вымытый щербатый камень со старыми выбоинами царских времен сразу же грязнился и оплевывался. Всякий почти старался что-либо добавить к общему хаосу: то харкнет сверху на самую середину пола, то придавит ногой папироску, покуда часовой не глянет в очко. В штукатурке старых стен дружными семейками роились клопы, их постоянно вышпаривали кипятком, они исчезали, появлялись снова. С ликвидацией платяных вшей

дело обстояло короче и действеннее — санобработка с одного, много — с двух раз.

В дороге много смеялись над ученым батюшкой, который с болезненным содроганием относился к шелканью пальцев то одного, то другого арестанта. «Ничего, батя, — смеялся бледный убийца девчонки. — Ты для начала одну пришелкни, блондинку с серой спинкой, не то и тебя зажрут». Но и дорога прошла, и вши ликвидированы, а вот сейчас на посту № 12 новое страдание — постоянный разговор. От него никуда нельзя было спрятаться, ни утром, ни днем, ни даже ночью, когда болтовня поднималась как-то внезапно, по мере чьей-то бессонницы, или стука, или, как это бывало в России, после вызова на ночной допрос. Люди говорили почти все и всем... И во всем была неразбериха. Если бы людям и пришло в голову, то какое им дело до того, что кто-то больной мучится через пытку слушанья ненужных словоизвержений? Но разговаривая, эти люди топили в них все: и страх, и грусть, и укоры совести, и ночную скуку, и неизвестность приговора — и мало ли еще что...

Темы возникали всякие — и анекдоты, и происшествия. Домашнее житье вспоминалось. Говорили о доме, об оставленных ребятах. Зачастую бахвалились теми поступками, в которых обвинялись. В Иркутске же, словно бес вселился, вся компания дружно несла похабщину. Рыночные остроты и частушки срывались то и дело в темноту ночей. По вечерам до полной слепоты играли в засаленные картишки. Вспоминали баб, матерно переругивались. Делились всякими интимностями, наклоня друг к другу багровые лица. Только один бухгалтер, «бывший человек», как интеллигент, держался поближе к священнику, чем к остальным, и то, стараясь не изъяслять особого сочувствия, а так, по мере надобности, кидая ему только необходимые слова.

Кое-какое разнообразие жизни, как оттяжку от мути и лени, внес своим приходом китайский доктор. Его привезли на двенадцатый пост к концу второго дня по прибытии ленинградцев в Иркутск и, несмотря на всякое утеснение камеры, утеснили еще, поставив ему койку, и веселый желтолицый человечек занял временную площадь. Он ходил в мягких туфлях, совершенно спокойно относясь к окружающему. Но когда в камеру входил солдат с чайником, китайский доктор оживлялся, улыбаясь, еще более суживал в щелочки косые глаза и спрашивал: «Передача наша скоро, а? Шамай надо...» Его привезли с предыдущим этапом из Томской

пересыльной тюрьмы. Двенадцать лет он исправно пользовал больных травками и сплеховал: открыл торговлишку кое-чем, чего не хватало подчас в аптеках. Тут к его обвинению случилась еще смерть ребенка, которого он лечил настойкой конского щавеля от диспепсии, и его засадили как спекулянта-торговца и бесправного медработника. В Иркутске у него была родня, и он жадно ждал передачи, в первый же вторник ему принесли сырого петуха, десяток невареных яиц, плиточного чаю и полбуханки пшеничного хлеба. Курятину он поел жадно, сырьем, разрезая птицу перочинным ножом, кое-где помогая разрывать руками, яйца тоже проглатывал сырыми, чай же крепко заваривал первым принесенным кипятком в оловянную чашку.

Дежурный, что принес передачу на пост, заинтересовался китайским сыроедством и, допуская некоторую фамильярность с заключенными, спросил священника:

— Что же это, по ихней вере надо сырого петуха жрать?

Тихим голосом, прерывистым от постоянной за последнее время одышки, батюшка объяснил, что у каждого народа свои вкусы и свое понятие о еде, о нуждах организма, что, пожалуй, к религии это нисколько не относится. А вот некоторое из того, что едим мы, покажется китайцу, пожалуй, диким, неприятным.

Китаец, видимо, понял батюшкины слова, он закивал, заулыбался, отрываясь от обеда:

— Твоя-моя, тебе — шамай невкусно. Твоя-моя.

Бледный, что ссылался за убийство жены, ярче всех грустил о свободе. В этом остроге им воспользовались как смышленным, грамотным и расторопным — его поставили на пост передач. Ему был смысл взяться за такое дело: кое-кто и подаст ему самому и сунет что... а ведь как это дорого. Здесь у него ни родных, ни знакомых. Сам пережив и переживая заключение, он живо сочувствовал всем. Он был не пришлый, не здешний, а свой брат, и потому все бабы в платках, все мужчины и подростки, пришедшие с передачами, были ему свои. Он разговаривал со всеми наносно грубовато, но люди сразу угадывали сочувственного, своего. Не прошло и полчаса вторичной передачи, как у него уже были два соленых огурца, яйцо и кусок омуля на пшеничном пироге. Весь провиант он отнес по правилу за решетку, заявив — «мое». Надо было ловко маскировать внимание к заключенным и к их родне, иначе снимут с поста — и шабаш, сиди на пайке.

— Это кому, Мокееву? — грубовато забирал он корзину. — Чего ревешь? Не помрет Мокеев. В больнице недурно. Кто следующий? На пятый? Завтра придешь. На пятый сегодня приему нет. Осадите, граждане... Так нельзя. Перво-наперво пропустим, кто законно принес, не бузи. А там, гляди, и ты свою сдашь. Помаленьку...

Бабы причитали: «Милостивец...»

Тюрьма за год побелила губы и щеки «милостивца», что год назад, в ярости, зарубил бабенку. Не вязалось это ни с внешностью, ни с несколько утомленным, размеренным голосом. Со дня первого его появления на передачах стали звать его «бледный».

Ученому батюшке, вопреки всем несообразностям подобных мыслей, все грезился на первых порах пребывания в домзаке приезд сюда жены. Ему все слышались за дверью ее быстрые шаги, ее речь, ее пленительная знакомая улыбка. Но тут же, осознав всю призрачность и шаткость миража, он разбивал молитвою помыслы земные и потому нетвердые.

Город Братск — через Тулун и Братск в дальнее село Усть-Вихрево, так поставили его в известность о точке прикрепления. «Братский острог» — так назывался крошечный кружок на географической карте, в излучине Ангары.

Дореволюционной Сибирью, какой-то темной беззвездной далью прозвучало слово «острог». В Братске Ангара оканчивает судоходство. Пристань... Весна. Жена может приехать только весной. Тут его познания о новом пути обрывались сами собой, незнакомая Сибирь страшила больное сердце пространством и горами. Все становилось гадательным, как в тумане, и только резало, все резало седую воду Ангары колесо парохода.

Большой ученый, человек книги и философских трудов, теперь он учился мечтать. Иначе, как мечтами, нельзя было назвать мелькающие одна за другой мысли. Они приходили бессменно вместо книг и проповедей, занимая мозг. Мигали мелочи тюремной жизни. Он удивлялся им, но не пренебрегал. Наоборот, воспринимал мельчайшее до боли тонко и глубинно. Раньше жизнь отлагалась в сознании большими аккордами. Готовые анализы вливались в него сразу. Одно гармоничное и целое улавливалось им. Теперь не то, но лучшее и новейшее. Он раздвинет стены и посмотрит на просторы за ними. Непостижимо вмываются в его сознание мельчайшие штрихи и подробности скрытой, потаенной жизни. Вот-вот развернется она и осияет его...

Кто-то принес кому-то с передачей букетик астр — лиловых, розовых... Ему кажется, что с ними в камере исчез запах карболки, перебивающий испарения человеческих тел. Перед ним знакомый приют осеннего сада. Там, в России, закат угасал над рекой. Легли вечерние, серые тени. Вот идет к нему навстречу кто-то, кутаясь в платок. В руке — лейка, на клумбах — астры. Ближе, ближе к нему легкий ход знакомой фигуры. Она уже не в саду, она в камере, от нее веет свежестью осенней клумбы, на груди у нее лиловая большая с бутоном астра, дрожат знакомые ямочки на щеках, лейка брошена, руки протянуты к нему — «жена!».

Это были одни состояния... Другие, более жизненные и реальные, повели с ним дружбу с первых дней заключения. Эти первые дни были днями лучших надежд. Конечно, его испытание должно скоро кончиться. Недоразумение, ошибка. До него дошел черед по вере и по сану, и только... Питаясь надеждой о скором освобождении, он полюбил мысленно служить в своем большом храме. То видел себя в алтаре, то стоял с крестом на амвоне, то шел давать молитву. Он так сроднился со своим храмом, что и не думал никогда быть от него вдали. В нем служить, всякий день приносить Жертву и, наконец, лежать там в гробу, с Евангелием в руках — иначе он не мыслил.

Но дни отлетали дальше от того дня, в который его увели из дома. Вот прошла Троица, Всех Святых, замелькали чередой все летние праздники. Просыпаясь в камере, он среди ночи высчитывал, когда же — на Илью ли Пророка, либо на Первый Спас будет он чередным? И вдруг, со слезами упрекал себя в гордости, нетерпении, лживых мечтах, начинал молить о кресте и смирении.

Он был приклеен к большому делу как духовник старика обвиняемого, и он, которого не могли сломить камера, одиночество, скука, сделался большим после допросов, после неверия к его словам, где его трактовали как вредного, лживого, недостойного человека. После ряда дознаний с его мысленного горизонта исчезли ежедневные стояния в храме в виде мистических вхождений туда. Окончилось и составление им проповедей. Голова опустела, как у поэта, уставшего от творческих наитий, и в камеру к нему пришли иные гости.

То были нити золотых, тончайших воспоминаний о годах учительства, золотой сетью забрасывались они в его одиночку, уловляя мысль в свои весенние призрачные тенета. Как живая, вставала перед ним жена, и особенно ярко вспыхивал в его памяти

тот момент, когда, отрешаясь от своей заветной цели, он к ней одной протянул свои руки.

Любовь

Есть на свете любовь, отличная от всех известных видов любви, когда любят — и не видят краев своего чувства, и не измеряют его глубины, и не хотят и не жаждут своего, а черпают и черпают из неиссякаемого источника вечной любви живую воду и орошают влагой все кругом: близрастущие травы, пыльные дороги, глухие тропинки, вялые кусты. Вдохновение такой любви, не знающей границ и мер, идет из другого ручья, неизмеримо большего, не-усыхающего и в своем вечном неусыхании — непостижимого. Журчит поток, стремится прозрачные воды, веками утоляет жажду человечества. Кто нашел на своем пути золотистый отводок всемирного потока, кто припал к нему жадными устами, тот вовек пьет из него чудесную влагу. Питается его душа, крепнет тело, дух парит к Небу, окрыляются надежды, светлеет разум. Сам же тот человек делается сосудом живой воды — к нему идут, пьют, оживают... И в свою очередь утоляют жажду других.

Всю свою жизнь, от самого детства, с момента высшего вдохновительного сознания, которое у иных в раннем возрасте бывает сильнее, чем когда бы то ни было,пил сначала отрок, потом юноша Павел из чудесной жилы неиссякаемого ручья. Восемилетним ребенком подговорил он сестру идти на богомолье: рассказы няни об Афоне и Иерусалиме пали на чуткую душу. Ранним утром оба малыша, Паша и Маша, исчезли из дома. Их нашли только на другое утро, усталых, голодных, в избушке лесника. Родительское счастье от находки было так велико, что о наказании не могло быть и речи. Лесник привел их к себе с проселка, что вился у самого леса, измученных, жалобно спрашивающих: «Дяденька, где тут дорога на Киев?» Верст пятнадцать прошли от родного дома, а ночь провели на опушке леса. О происшествии говорили, его вспоминали как «случай детства», но, как по уговору, в религиозной семье никто над ними не смеялся. Мало того, за Павлом стали бережно наблюдать. Мальчик рос в чуткой, духовно одаренной семье и, по его позднейшим словам: «Я не мог быть не таким», определилась вся его сущность. Ему не препятствовали ни в чем, а только пеклись с особым тщанием дать ему благоразумное направление в постигаемом, удалить от него раннюю мечтательность и

неразумное рвение к подвигам выше сил. Смирным и кротким Павел был в детстве. Родители, однако, боялись дать миру фанатика и обуженного, одностороннего человека, поэтому образование Павла было полным, разнообразным, книги окружали его, но не бессистемно, а под тайным, строгим надзором педагога-отца. Мальчик учился хорошо, хоть и казался порой рассеянным и задумчивым. Окончил гимназию одним из первых учеников, надо было двигаться дальше, поднялись разговоры об университете — каково же было удивление отца, когда сын сказал ему: «Ваша воля, папа, для меня все равно, что воля Божия, но если вы интересуетесь моим желанием, то вон оно: иночество...»

Однако и послушался отца, был зачислен в университет, который и кончил с дипломом первой степени по историко-филологическому факультету. Его оставили при университете на три года при кафедре философии для подготовки к профессорскому званию. Казалось, что он подчинился определенному пути, но сразу же заявил своим: «Теперь — в Академию». Родные не проронили ни слова. Он был уже самостоятельным человеком, кроме того, они надеялись на годы учения, как на оттяжку принять монашество, а в глубине своих простых, любящих сердец смотрели на каждую религиозную и благонравную девицу как на будущую пару для своего одаренного сына.

Духовная Академия была также блестяще окончена им в следующем году после первой революции со званием магистра богословия. Дорога к высшим ступеням духовного образования широко открылась перед ним. В том же году осенью его пригласили в Петербургский женский педагогический институт читать частный урок по истории русской религиозно-философской мысли, и сразу же за этим назначением он был утвержден штатным законоучителем Предтеченской воскресной школы, а в следующем, 1907 году допущен к преподаванию закона Божия в женской гимназии, на первое время без принятия священного сана. Он не торопился принимать священство. Он лелеял другую мечту, которую, будучи студентом первого курса, доверил митрополиту Антонию и получил на нее полное одобрение и благословение.

Так потекли его дни. После окончания Академии прошло еще два года. Философ-богослов проснулся и созрел в нем. Его манили научные труды, тишина рабочей комнаты и возможность писать о беспредельном и тесном пределе жизненных рамок. Путь и подвиг его любимого и, как он верил, духовного покровителя епископа

Феофана становился все ближе и ближе. Он уже грезил о своей келье, ради которой рад был затвору. Он воочию видел лучи утреннего солнца, просвечивающиеся в тесную келью монаха, он слышал колокольный звон, и ему так хотелось работать во славу Божию и ради любви духовной к тому миру, который он оставлял навсегда, чтобы теснее его принять и о нем молиться. Он видел себя, подобно затворнику-епископу, пишущим и творящим. Наконец-то вышла в свет первая его маленькая книжечка «Мистика Симеона Богослова», и в тесном кругу студенчества Духовной Академии заговорили о ней.

Ему приходилось в эти учительские годы много трудиться и на курсах, и в гимназии, и там и тут, и хотя он добросовестно отдавался своему делу, но то высшее вдохновение, которому он посвящал свои досуги, охватывало его с ног до головы, учительство брало силы, но не наполняло всего. Придя с уроков, отдохнув слегка и подкрепив себя пищей, он садился за свои письменные труды и с вечера до зари сидел над бумагой, а утром возвращался к реальной жизни голодный, счастливый и, когда, опаздывая к первому уроку, наскоро в учительской выпивал кружку чая с куском булки, и как вкусна казалась ему эта булка. Словно никогда не ел ничего лучшего.

Он взял себе за правило — молитвенно подходить к началу литературных трудов и неукоснительно исполнял свои начинания в маленьком, но ежедневном правиле. Плоды сказались тотчас же, бунтарские силы необузданного вдохновения подчинялись спокойному духу истинного художника. Сначала мозг его утомлялся, холодели конечности, и все это производило после часов труда некоторое рассеяние мысли. Теперь он учился писать спокойно. Мысли выявлялись одна за другой, но они не насакивали одна на другую в хаосе и спешке, а ложились на бумагу ясными оформленными строками. Стало меньше лишних пояснений и поमारок, и к весне, с окончанием гимназических экзаменов, он надеялся засесть за новый, большой труд. А по его окончании, думалось ему, коль Бог поможет, ликвидировать учительское место и принять монашество с главной целью — уйти в затвор и заняться духовным писательством.

Он стоял уже на перегибе жизни в ту, лучшую для него и более понятную ему сторону, но он все еще медлил со своим уходом из мира. В той гимназии, где он преподавал, шли выпускные экзамены, и они подходили к концу. Он ассистировал по Закону и

истории. Робкий и застенчивый от природы, поминутно сталкивался на лестнице или в коридоре с веселой толпой учениц, чувствуя на себе их взгляды, он проходил или даже пробегал мимо, наклонив вперед голову, и нередко слышал за собой их затаенный смех. Невольное смущение не оставляло его и в тот вечер, когда он, в числе других приглашенных педагогов, переступил порог украшенного актового зала. Он вошел сюда с определенной мыслью: «Я уступлю сегодня, но это будет в последний раз». С таким настроением появился он в дверях знакомого здания. Но, Боже, как все здесь нарядно и необычно: вместо знакомых классов — уютные гостиные с мягкой мебелью и коврами. Пол в зале натерт до подобия ледяного катка. Его встречают раздурманенные лица учениц. Но разве для него все это? Он не хулил ни молодости, ни ее даров, но уже со всей своей цельностью отдавался тому узкому пути, на который вступил в свои тридцать два года. Затем, как будущий затворник, который никогда не услышит женского смеха, не увидит румянца девичьих щек, он считал все подобное вредным и лишним для себя. На что ему это, если осенью затворится за ним крышка желанного гроба и он уйдет из мира чувств, страстей и желаний? «Даже единый раз полученное впечатление, — мыслил он, — отображается в мозговых клетках и живет в них до конца, до гробовой темноты. Так зачем же мозгу и сердцу, отдаваемым во власть и действие Святого Духа, хранить в себе иных спутников, кроме тех, которым он отдаст себя на всю жизнь?» Он не видел в гимназической вечеринке ничего греховного, но в то же время считал уже лишним и отрезанным от своего бытия все то, что происходило вокруг. Полезнее и слаще было бы сегодня, не теряя даром драгоценного времени и половины ночи, списать несколько страниц из творений Василия Великого, а затем стать на правило, тем более что завтра наступал праздник.

Между тем гимназическая зала все более наполнялась и оживлялась, выпускные ученицы и девочки-второклассницы входили со своими отцами, матерями и братьями, иных сопровождали и товарищи братьев, гимназисты старших классов, моряки, кадеты. Аромат ландышевых и сиреневых духов носился в воздухе. От кружевных платочков, шарфиков, нарядных туфель, от всех этих молодых лиц, блестящих глаз и ровных проборов веяло весенней зарей. Просвет между двумя окнами заполнялся массивным портретом царицы в золоченой овальной раме, в костюме русской боярыни с жемчужными серьгами, с белым тюлем на кокошнике. На одном

из окон забыли опустить штору — майская ночь глядела сюда, мерцающая высокой звездочкой в небесной сини. Вошла начальница гимназии в синем платье, с пышной грудью, увешанной орденами; некоторые педагоги привстали поздороваться, издали поклонился и он, а затем стал подыскивать себе укромное местечко, где бы его не так замечали и где его соседями были бы подходящие, степенные (так, казалось ему, нужно было) люди. Но гимназический священник в своей нарядной шелковой рясе, паче чаяния уселся в переднем ряду стульев, расставленных для концерта, по бокам поместились его дочери. Каким спасением для робкого учителя явилась белая печка, широкая, с большим выступом в залу! Он забрался сейчас же в самый угол, рядом стояло еще два стула. Вскоре их занял господин в судейском мундире с юной дочерью. До начала концерта они разговаривали вполголоса, и молодая девушка все время сдерживала затаенный смех, вот-вот он выпрыгнет наружу и покатится по залу. Бедному учителю казалось, что в лице хохотушки-блондинки вся зала смеется над ним. Но девушка веселилась попросту, от души, здоровая, молодая... Радость жизни наполняла ее. Без тени смущения или кокетства она сразу же вступила в разговор со своим застенчивым учителем, рассказывала ему, что ждет подругу Бодалеву, что обе они курсистки третьего курса, что им обоим по девятнадцать лет, что они с нею мечтают после окончания курсов никогда не разлучаться и служить вместе. И снова зазвенел колокольчик смеха, казалось бы, беспричинного, но такого понятного всем, кто смотрел на нее.

Начался концерт. Первым номером прошло, как водится, хорошее пение. «Ходим мы к Арагве светлой каждый вечер за водой»... — пели юные голоса, и от знакомой мелодии ему стало молодо и светло и как-то пленительно грустно. Вдруг зал зашумел, все захолопало, он очнулся. Хору долго и протяжно аплодировали. Потом вышли три его ученицы, выпускные гимназистки, и спели «Распятие». Его мысли, смущенные «Арагвой» и ее вибрирующими восточно-пленительными звуками, сразу приняли другое направление. За «Распятием» последовал нежный полудетский сопранчик, четко и чистенько пропевший «На солнце темный лес зардел», ему тоже хорошо похлопали. Дальше шло чтение «Думы» Шевченко, «К няне» Пушкина. Затем снова пение — дуэт «Не искушай». Пение дуэта снова повлекло его чувства и мысли, настроенные на мирный и высокий лад, в область какого-то грустного хаоса, чего-то прозрачного и неполного. Пение струилось по залу, как невидимый

для глаз туман, и томило душу смутной и нежной тревогой. Оказалось, что в своей уютной тишине за кафельной печью он был плохо защищен от собственного, новорожденного, шемящего и жаждущего, чувства тоски. Такое настроение ему было несвойственно. Оно налетало на него от разнообразного сочетания звуков — тут была целая гамма настроений, весь этот мир звуков и слов, выражавших то скорбь, то раздумие, то томление и надежду земли, кем-то оставленной, копошившейся в своих страстях, воззваниях и пленениях, но все же прекрасной и неизведанной земли — все вместе взятое стеснило его сердце мучительной и до сих пор незнакомой тревогой. Окончился концерт. В зале всё разом зашумело, задвигалось, молодежь мигом разнесла по местам стулья. Педагоги и многие из выпускниц отправились по классам пить чай. Не узнать классов! Они превращены со вчерашнего дня в уютные гостиные с палевыми и голубыми абажурами, диванчиками, столиками, пуфами. Но в зале было не до чаю и угощений — молодежь готовилась танцевать. Тапер перебирал клавиши, всюду раздавались смех, говор, веселые пререкания... И наконец поплыли в вальсе первые пары. Настала решительная минута. Гимназический законоучитель встал — он не танцует, надо идти домой, в свою тишину, чего еще ждать?

Вдруг до его слуха донесся вопрос господина в судейском мундире, обращенный к хохотушке-дочери:

— Посмотри, Катюша, посмотри-ка, ты не знаешь, кто эта красавица, в голубом, прямо с картины Маковского?

Катюша никогда не беднела смехом и тут она так раскатилась своими колокольчиками-бубенчиками, что смутила папашу:

— Ты, папа, неисправим! Красивые женщины и мой папаша! Ну, так и быть, познакомлю вас!

— Катюша, я ведь только спросил, — виновато оправдывался судейский папа.

— Ты спросил — я отвечаю. Это вот и есть моя подруга Нина Бодалева. Та, что окончила экстерном, а теперь со мной в институте. Нина! — во все горло крикнула весельчак-девчонка. — К нам, к нам!

Бодалева шла на зов, пересекая залу. Перед нею расступались ряды танцующих педагогов, гимназисток и курсисток, пропуская ее на другую сторону зала, а сидевшие и стоявшие у стен, устремляли на нее восхищенные взгляды. Трудно описывать красоту. Чехов в своем рассказе «Красавицы» лишь наме-

ком творит образ одной из чаровниц мира. Армяночка Маша заронила в сердце актера какую-то необычайную печаль, сродни тоске от пребывания в знойной, пыльной степи. Бодалева же пленила всех, рождая не печаль, а восхищение от победного вида русской лебедушки. Ей бы разбросать по плечам русую косу, что закручена сейчас тяжелым узлом на затылке, ей бы на голову кокошник с жемчугом и подвесками, да не такой узкий и subtilный, как у царицы на портрете, а настоящую кикку с закрутком и блеском позумента, с бусиками, что спускаются до соболиных бровей и шелковых ресниц, слегка затеняя блеск и смех васильковых глаз. Да нет, к чему тут даже русский наряд? Она хороша во всех нарядах: наденьте на такую красотку суровую сорочку до пят, да голубой, либо малиновый платок на голову, или просто разметайте волнистую косу по лебединой шее и покатым плечам — такой внешности не требуется ни ухищрений туалета, ни искусственной завивки волос. Краска здорового и нежного румянца опахнула щеки, губы улыбались, чуть заметно появлялась и исчезала ямочка на щеках, голубее ее голубого платья не жили глаза. Катюша сейчас же познакомила с ней ее восхищенного отца, тот наклонился к ее руке, отчего девушка вспыхнула вся и стала еще краше.

— Ты отчего не танцуешь? — весело обратилась она к Катюше.

— Кавалеров у меня нет! — простодушно ответила та и залилась смехом.

— Так я тебе сейчас найду. Или от своих отбавлю. Кого бы тебе? А вот подле тебя кавалер. Павел Петрович, вы не танцуете?

Бедный учитель готов был исчезнуть, испариться от смущения. Ему было трудно поднять глаза. Ведь в классах гимназии, равно как и на курсах, везде смеялись над его застенчивостью, бойкие ученицы старались его рассердить, вывести из себя — и однажды добились своего. Он вспыхнул, загорелся гневом и, встав, пошел к двери. Но тут же обернулся к классу и с полными слез глазами тихо и внятно произнес: «Как вам не стыдно унижать человека. Чтобы это было в последний раз!»

В классе стало тихо, а вслед за тем девочки сказали чуть ли не хором: «Мы больше никогда не будем, простите нас!»

Тут не класс, а только одна курсистка Бодалева стояла перед ним, и летняя зарница метнулась ему в глаза.

— Я не танцую.

— Вальс? Просто вальс? Как это так — не танцуете?

Он настаивал, что не танцует. Бодалева тянула его к Кате, та со смеху упала головой на его плечо. Катин отец добродушно советовал начать именно с вальса, около них сгруппировались педагоги, ученицы и, наконец, Катя вытащила своего неловкого кавалера на середину зала. Только не упасть. Он едва поспевал неопытными ногами за быстрым и плавным движением танца, земля под ним вертелась, кто-то кричал: «Браво, Павел Петрович!». Его имя и отчество уязвили слух — конец, он снова у печи, и не его дама — Катя, сидит на стуле, а его самого кто-то усадил, или, вернее, сбросил на стул. Снова Бодалева, она не смеется — спасибо ей! — а наоборот, очень серьезно говорит ему: «Видите, все благополучно... Первые шаги всегда трудны. Вы отдохните, а потом мы с вами и Катей пойдем в пустой класс и покажем вам некоторые самые простые «па».

— Нет, нет. Прошу вас... я никогда... не танцую...

Все же он не миновал пустого класса, где пахло мелом и пылью, куда накануне из-за вечеринки втащили глобусы, карты и доски. Сейчас это был склад гимназического инвентаря со всех гостиных. Класс тускло освещал маленький газовый рожок. Тут налицо были все таблицы, знакомые ему по классам, куда он входил на урок: флора Австралии, всевозможные человеческие расы, охотники в альпийских горах. Одна из таблиц знакомит детей из года в год со «смерчами в пустыне». Тонкие и толстые песчаные столбы гневными титанами шли на одного путника, что забился в самый уголок картины, к ногам своего верблюда. Вокруг зловещей окраской и сизо-черными тучами наползало небо. Смерч непонятных еще и неосознанных туч охватил душу учителя так внезапно, как нашел бы на одинокого путника в Сахаре его песчаный брат. Катю позвали в залу. Она выпорхнула из класса, оставив наедине свою подругу и неопытного танцора, но урок танцев у них оборвался сразу. Оказалось, Бодалева была не лишена чуткости и серьезности, чтобы не заметить, как далеко от бального зала настроенность ее знакомого педагога. Да, она давно его знает, несмотря на то, что в их классе он не преподавал Закона, к тому же она поступила экстерном на второй, а сейчас, на курсах, она давно слушает его чтение по истории русской религиозно-философской мысли. Правда сказать, что она не очень-то задумывается над высокими вопросами, но его чтение ей нравится, у нее оставался конспект некоторых лекций. Но он-то сам ее не знает, не замечал... Во-первых, потому что по гимназии она не была его ученицей, во-вторых... во-вто-

рых, потому что он никогда... почему это так? не смотрит на учениц. Да, то-есть, он смотрит, но как-то не пристально, думая о другом... А то и совсем иной раз не поднимает глаз. Почему? Ведь это нехорошо. Значит, у человека есть что-то на совести. Так она думает о тех, кто не смотрит на людей открыто и весело. «Ох, простите, — вдруг сорвалось у нее в каком-то порыве, — я такая смелая, что говорю вам это, вы не обиделись?» — добавила Нина искренно, а он весь вспыхнул и сразу поднял на нее свои глаза. «У него на совести? Что-то на совести? — О, нет, она ошибается. Вот посмотрите, вот мои глаза, есть ли у меня что плохое на совести?»

Теперь оба смотрели друг на друга, впиваясь взглядом в общую дрожь зрачков, пока она первая не прервала таинственного и смелого общения.

— Ну, хорошо, ну верю, что нет на совести... Ну верю, у вас такие... — она затруднилась в точном определении, — такие глаза, будто в них светленькие уголечки... От них не спрятаться. С виду — вы тихоня, робкий, а как посмотрели прямо, ну будто угольки сияют из темной печки, зимой...

Он тихонько отводил и, наконец, с трудом отвел глаза от ее взгляда... А почему, задала она вопрос, почему он выбрал такой предмет для преподавания — богословие? Ведь он по профессии, как она слышала, филолог? Почему не словесность? Почему не история?

Он застенчиво чуть повел плечом — любимый его жест при всяком смущении.

— Видите ли... знаете ли... ведь я, собственно говоря, магистрант богословия, я недавно из Академии...

Так вот что! А она-то, она! Будто и не слыхала об Академии... Даже неловко перед ним! Как забыла, или из виду упустила... так чудно для нее звучит «магистрант богословия»... Это что-то большое и серьезное... И она потупила глаза и сидела тихо, как в присутствии начальницы, или инспектора, или в обществе отца Федора.

— Ну, и что же с вами будет дальше? — вдруг, прервав молчание, понеслась ее скороговорочная, быстрая речь. Этот быстрый темп слов, одна из ее особенностей, не совсем сочетался с плавными движениями и поступью русской красотки-лебедушки. Она указывала на большое внутреннее горение, на впечатлительность души и на какие-то стремительные движения сердца. Так, по крайней мере, объяснил он себе живое и трепетное вспыхивание слов.

— Что же со мной будет дальше? — А дальше... — он улыбнулся и, снова смутившись, начал тереть рукой колено, но сразу заставил себя поднять глаза и посмотреть на нее — прямо в лицо.

Она смотрела на него пристально и проникновенно, как бы желая узнать о нем все. Она смотрела на него всем очарованием глаз, пышных ресниц, сводами бровей, трепетанием ямочки на щеке, — он почти коснулся ее покатога плеча, скромно и высоко задернутого шифоном голубого платья. Они сидели так близко за партой младшего класса...

— Если так, — как бы с трудом, уже отведя от него глаза, говорила она, — то почему же вы не пошли по духовной части, а учительствуете?

Да, это был вопрос по существу... Он всколыхнул его сознание, он пробудил его к действительности. Она права — зачем он здесь до сей поры, до этой узенькой парты? И он, хоть снова глядел на нее, но произнес решительно и твердо:

— Скоро уйду. Учительствовать не буду. Вот на днях у ректора в Лавре решится моя участь. Так, около Тихвинской или немного позже... в черное духовенство.

Что-то внезапно, подобно летней молнии, которая вот-вот решится крупным дождем и сильным ударом грома, осветилось в глазах Нины.

— В монахи? Вы? Какой ужас!

И вслед за тем они оба рассмеялись таким детским задушевым смехом, который сразу убил между ними всякую неловкость и застенчивость, причем он, конечно, смеялся не над своей заветной мечтой, но над ее наивным, неосмысленным ужасом. Нину скоро позвала в залу Катя, выкликнув ее из коридора. Ее спутник остался сидеть, как прикованный, за двумя черными досками на лишней, углом выдвинутой парте. Он не ждал, что она снова придет в пустой класс, сюда никто не заходил, все танцевали. Она выпорхнула отсюда, как чудесная птица, но его самого словно кто-то связал. Зачем он здесь сидит? Глупое положение! Встать и идти домой. Ведь его никто не ищет и не знает, он — всюду незаметная фигура, если не преподает в классе. Но он сидел и сидел... Мало того, что сидел как прикованный — он против воли загадал: «Если она придет сюда снова, то... Что же будет, если придет? — резко оборвал он самого себя и высвободился из тисков тесной парты, встал, но дверь распахнулась, и Нина, задыхаясь от мазурки, вбежала в класс... Он стоял перед ней в полутьме, как один из смерчей на картине «Самум в пустыне».

— Вы разве все еще здесь? — ее голос звучал как бы растерянно. Он еще здесь, в пустом классе, почему? — Я не тут ли обронила серебряный карандаш?..

Они долго искали карандаш под досками и скамейками, но он оказался у нее в кармане. И снова, как сговорившись, уселись за доской. В коридоре слышалось: «Бодалева! Где ты? Бодалева!..»

— Молчите, — шепнула она ему. — Пусть поищут. Обожаю прятаться. Люблю, чтобы искали.

Только к концу вечеринки, когда в зале погасли огни и незасыпающую белую ночь сменила заря, Нина вышла к танцующим, чтобы загладить последней мазуркой свое отсутствие.

Ее собеседник, придя домой, не ложился. Сразу сел за книгу. Двор уже просыпался, по лестницам и асфальту стучали шаги. Вскоре донесся первый удар колокола к ранней обедне — воскресенье.

В его комнате было все, как вчера, книга с закладкой лежала на том же месте, приглашая его продолжить оборванное чтение. Продолжить! Легко сказать... Вникнуть в творения Василия Великого, когда в голове туман, сумбур, — взрывы самых различных, доселе не посещавших его мыслей... Еще только несколько часов назад тихим иноком сидел он здесь над книгой, а сейчас? Что это, Господи, налетело на душу? Свыше ли посылается, с левой ли стороны? — мучился он, сжав руками свой высокий лоб. Наконец, измученный, бессильный, приник к углу, где стоял высокий столик, приспособленный под аналой, с четками, большой Псалтирью и восковой свечой в подсвечнике. Помолясь, стал спокойнее, лег на полчаса, но проспал и раннюю и позднюю, до самого прихода из церкви и матери и сестры.

— Что с тобой, Павлуша, жив ли ты? — постучали к нему.

— Жив! Повеселился на балу гимназическом в кои-то веки...

— Ну и слава Богу! — от души сказала мать.

Но не «слава Богу» внедрилось в обеспокоенной душе Павла. Голос, внешность Нины, очарование ее скороговорочной речи с этого дня следовали за каждым его шагом. В один вечер он узнал ее ближе, казалось ему, чем за несколько лет всестороннего изучения. Искренняя, как ребенок, лишенная присущего хорошеньким девушкам кокетства — все в ней было так светло, так невинно, так правдиво — нет, эта не солжет, не обманет. Сгоряча причинить боль, рассердиться, вспыхнуть — возможно, но не ложь, не лукавство... Каким бы другом стала она ему, если бы... А Бог? — оборвал он себя. — Где же Бог? Сколько лет у него прошло в

таинственном и верном общении с Вечным Духом. Где же оно? Он искал его в себе, но странно... Все, что наполняло его жизнь, все, что занимало душу, — все исчезло и заменилось присутствием Нины и мыслями о ней. Везде она и только она. Вот он снова сидит с нею в пустом классе, не спуская с нее глаз, и в ней — вся радость, восторг земли, ближайшая, чудесная цель бытия. А она сидит рядом с ним на узенькой парте, теребит в руках серебряный карандашик и рассказывает ему — что? Да свою коротенькую восемнадцатилетнюю повесть: детские шалости, уроки. Игры в большом саду у подруги. Тема по русской словесности на экзамене. Как боялись за нее мать и бабушка, когда она в 1905 году, нацепив на грудь красную ленточку, шла по улицам Васильевского острова с подругами. «Вихри враждебные веют над нами...», а они все шли вперед и вперед, пока не разогнала молодое шествие конная полиция... Деспотичный отец не посмотрел на то, что она уже подросток, запер ее на хлеб и воду после того, как она усталая, взволнованная и плачущая вернулась домой... Из-за этого происшествия она почувствовала себя чужой в семье, она уже не могла звать к себе некоторых подруг. Вот и все, кажется? И он принял ее повесть, как иерей впервые принимает первую исповедь. Он впитал ее в себя, он схоронил ее на всю жизнь в своем обширном, от многого уже отрешенном сознании. Он всегда будет помнить и помнить, как прощаясь с ним в тот вечер, она сказала ему: «Я кажусь вам болтушкой? Но верьте, что никому никогда, ни разу... я только вам... Почему это так?» На это он ничего не мог ответить, смотрел на нее растерянно, и, как он сам себе признавался, глупо и смущенно потрясенный, вышел за нею из пустого класса.

Приближался большой праздник, он решил говеть и успокоился на мысли о Таинстве. Всю неделю подготавливался с основной мыслью в сердце: «Путь мой уясни передо мной!» Прежний мир сошел на душу. Всю обедню простоял он за колонной храма вместе с двумя говельщиками, двинулся к алтарю, и когда случайно поднял глаза — за три-четыре человека перед ним подходила к причастию Бодалева, еще краше, чем была на балу, в белом шелковом шарфике вокруг шеи, с жемчужными сережками в розовых ушах. Он так и замер, плотно скрестив на груди руки.

«Самум в пустыне» продолжался недолго, и он недолго жил в смущении и борении чувств. Во время летних каникул между ним и Ниной все стало ясно, выявилась одна дорога жизни: с нею вместе, и только с нею.

Но он сам сознавал себя слишком тесно, от младенчества связанным с иным путем. От него он сейчас отходил. Ни любовь, ни их встречи, ни счастливые глаза Нины, что несли радость, не могли погасить в нем память о иных радостях и состояниях духа. Он снова и снова взывал к прежнему, но тщетно — те радости потускнели, казались недейственными, призрачными, гасли, как угасает лампада от бурного ветра из раскрытого окна... Что же спасало от гибели? Что заставляло лампадку его духа трепетно мигать, но не гаснуть окончательно?

Новый звук родился внутри. Уже не славословие прежней хвалы, уже не дерзновение просьб, не горячие слезы благодарности, нет! Днем и ночью этот звук тревожил его, подобно Гамсуновскому колоколу — словами грозными и печальными — «я женился и потому не могу прийти»... «имый мя — отреченна»... Но ему, как прежде, принадлежали одному тихие ночи. Ими снова устанавливался прежний распорядок жизни. Рассеянные и вышедшие из рамок чувства углублялись, собирались воедино и летели снова ввысь. И наконец, в одно августовское утро он встал с кровати спокойный, уверенный в необходимости своего решения, почти веселый. Прочитав утреннее правило, он направился к ректору. Разговор с ним он все оттягивал не только из-за страха перед монашеским обличительным словом, но из-за своей раздвоенности и сумятицы мыслей. Как явиться к епископу таким, каким он стал — влюбленным, тоскующим, теряющим под ногами почву? Как понятны стали ему слова: «Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает!» Ну, хорошо, ну он скажет: «Прости, Владыко, я переизбрал дорогу жизни»... Строгий епископ проберет его как следует, упрекнув его теми же словами, что слышатся ему теперь повсюду. Но ведь дело не только в выговоре и обличении. Раздвоенность, муки от неисполненного обета, сомнения, до сей поры отравляющие ему жизнь, радость любви, не отстанут от него и выйдут за ним за лаврские ворота.

Еще несколько томительных минут — он утешен и успокоен. Будто невидимой ласковой рукой с него сняты все колебания и угрызения совести. Он у Владыки ректора. Келейный отпущен. Тихо светится лампада у строгих ликов Нерукотворного Спаса, старинного деисуса... Святитель Николай благостно смотрит на них, сияя высокой митрой... А преподобный Серафим — тончайшая ручная монашеская работа — он как живой распростерт на камне, молится за грешный мир, отражая великим своим столпничеством вражес-

кую силу. И елочки, и камень, и небо, и сам Батюшка вышиты мелким бисером. Дрожит, проливая блестки-лучи на чудесный узор, маленький стаканчик граненой лампадки на едва видимых подвесках филигранного серебра.

В этой-то благодатной комнате еще так недавно первогодник-студент изрек перед тем же человеком свое заветное желание... и оно было принято из уст в уста, из сердца в сердце. Снова он на коленях перед своим духовным наставником в сокровенной беседе, взволнованный до слез, честный и прямой, по-ребячески лепечущий, по-взрослому — сам на себя негодующий...

И сразу — легко... отвален большой камень. Отецская рука легла на его голову, слегка провела по волосам: «Что же тут смущаться, чадо? Господь знает тебя. Он благословил свадьбу в Кане Галилейской, дал Свою радость брачующимся по Своему слову. А ты не отходишь, токмо приходишь к Нему через сие. Сан иерея, о чем ты помыслил, — великое дело. Кто знает, был бы по тебе монашеский путь? Не упал бы ты вниз, не нарушил бы строжайших обетов? Не поспешил ли давеча с таким решением, не зная жизни и ее соблазнов? Встреча с хорошей девушкой послана тебе во утверждение. Но вот что помни, брат: единое на потребу — стань иереем не по букве, не по внешнему сану, а во внутреннем человеке своем — дабы ни жена, ни плотское начало, ни какая иная тварь не могла разлучить с Возлюбившим тебя до смерти Крестной...»

Отнимая от склоненной головы свою старческую руку, ректор добавил на прощание:

— С миром иди. Принимай брак и сан. Будь иерей добрый, скромный, послушный, молитвенный, всем слуга, духом нищий, милосердный, миротворный. И будешь всегда монах! А станешь таким иереем по силе возможности, Господь вернет тебе все, чего лишаешься, вступая в брак. Разумею — иночество. **Даст Он тебе и затвор, и пустыню, и подвиг постный, только верь, что мы — живем ли, отходим ли — всегда Божии, что нам соизволяет ко благу. Так ли, иначе ли, а мы вечно странники-иноки. Путники в страну Ханаанскую... в отчизну нашу верную, нам обетованную... Иди с миром!**

Он не шел, а летел к своей невесте, как на крыльях. Куда ушли сокрушенные слова «имей мя отреченна». Разве он отречается? Никогда! Мир хлынул в душу живым потоком, дозволенный, благословенный Божий мир, радостный, улыбчивый — и он принял его, смеясь и плача от счастья, принял его, как ребенок!

Нина ждала его, сама открыла двери, но встревожилась от его взволнованного торжественного вида. Она отчасти уже научилась улавливать настроения своего жениха и хотя не осиливала всей его сложной борьбы, но страдала, подчас искренно, видя, как он скрывает нечто мучительное от ее пытливых взглядов.

— Вот что, Нина! Я тебя огорчу, опечалю, но должен открыть свое решение...

Она взглянула на него и побледнела даже — так необычайно твердо звучал его голос.

— Монах я, как видишь, оказался негодный, но оставить духовный путь никак не могу. Я долго мучился, думая о твоей судьбе... вообще о тебе. Это свыше, Нина, это помимо наших догадок и соображений — как нам быть и кем нам быть. Решение нахлынуло на меня сразу и сразу же освободило от многих мук. Ты знаешь, я начисто решил уйти от учительства. Нина, родная, подумай, тебе еще есть время отказаться от меня, встретиться с другим человеком, выйти замуж по взаимной склонности. Я тебя собой не тесню, не неволю. Но вот мое решение: иначе как с саном священника я не приму супружества. Вот — я сказал все. Думай и решай, как знаешь. Безумно люблю тебя, но соединиться браком могу только при таком условии...

Она, казалось, не спешила с ответом, только смотрела на него, не двигаясь ни одним членом. В ее глазах не было и тени неудовольствия или порицания, но матово-бледный лоб поднялся, суровая морщинка на минуту состарила лицо, пробежала между бровями. Долго молчала, все ниже склоняя голову, и вдруг — разом повернулась и убежала в свою комнату из гостиной, где они сидели. Весь он наполнился жалостью, трепетом, ожиданием. Сколько боли он ей уже дал! Не встретиться она с ним, с таким некрасивым, обособленным от запросов мира человеком, какого счастья с другим была бы она достойна! Тот, другой, дал бы ей все, по ее желанию, красоте, склонностям. Он же звал ее быть не только свидетелем, но и спутником той области жизни, которая в данный момент едва ли была для нее понятна и ясна во всем объеме. С малых лет призванный свыше на служение иному миру, рано уяснивший себе близость и сущность вещей иного порядка, уже отходивший за черту самоотречения, он соединялся браком — с кем? С молодой, красивой девушкой, слушательницей Женских курсов, своей ученицей... Правда, она религиозна и никогда не стала бы смеяться над его святыней, но ведь для нее только что открылся мир влекущих и

манящих страстей, ее звала жизнь всеми звонкими, нестройными весенними голосами. Подобно щебетанью птиц в майской зелени звенели и переливались они.

Дверь в ее комнату осталась полуоткрытой. Сюда он не входил еще ни разу и робко постучался. Ответа не последовало. Он перешагнул порог — где же Нина? В первый момент он растерялся, но вскоре заметил, что занавеска, под которой висели платья, колыхнется под чьими-то движениями. «Нина!» Плачущий голос сейчас же ответил сердито: «Что тебе?» Он ли сделал шаг к занавеске, сама ли занавеска отдернулась? Что случилось в один миг? Под его ладонью темно-русые шелковистые пряди волос, под его дыханьем — горячая влажная щека. Никогда, ни разу еще не посмел он так тесно и стихийно обнять ее. Поились слезы. Первый раз за время их знакомства она, такая ясная, самолюбивая, всегда веселая, плакала перед ним беспомощными слезами. «Нина!» Ведь это были его слезы и его трудности, которые он ей передавал с первых дней. Они долго стояли в своем нежданно-негаданном соединении. Внезапно она отодвинулась и выскользнула из кольца его рук.

— Ты святой, ты святой, я не могу. Ты слишком хороший. Я плохая, обыкновенная, я только люблю тебя, как умею, и больше ничего...

— Но, родная, пойми! — ведь это именно то, что надо... Большого никто бы не мог желать. Какой я там святой? Ушел от монашества. Решаю жениться...

Она уже вытирала последние слезы, хитро глядела на него, на губах расцветала улыбка.

— Бородка у тебя, как у монаха. Глаза у тебя, как у монаха. Светленькие, в печке угольки... А я?

Он снова обнял и притянул ее к себе.

— А ты? Ты моя красавица... Ты — радость! Все мое... Но, дитя родное, мы болтаем пустяки, а не договоримся до самого главного. Ты со мной, или уходишь? Скажи резко, определенно, порань меня до крови, но чтоб я знал. Ничего я от тебя не жду, не требую никакой святости, никакой ломки, ничего. Будь Ниной. Цвети цветком, пой птичкой, сияй звездочкой и живи со мной, освещая мои дни...

Все же она мучительно о чем-то думала, сдвигая брови. И вдруг — целый залп сомнений... Она не умеет и не может стать в его жизни «матушкой, попадшей». Она хочет окончить курсы. Она любит детей и не боится педагогического пути. А потом — ну, пусть он сочтет ее легкомысленной, но это условие надо оговорить... Как же быть

с театром? Она так любит театр, оперу, драму... А балет? Неужели он никогда не пойдет с ней в театр или в гости, а все дома и дома? И всюду она будет сидеть одна, не с ним, а с чужими? Ведь он же не пойдет с нею в своей... в этом своем новом одеянии? А вдруг ему дадут приход в селе и они уедут в деревню? Она совсем не умеет быть долго в деревне, особенно осенью, когда начнутся дожди. И потом деревенское хозяйство — соленья, варенья... Она вообще не хозяйка, а маму тоже нельзя брать в село, она привыкла к городу...

Он сейчас же, слово за словом начал разбивать ее смущения. Никуда они из города не уедут. Он пойдет к тому же ректору, подаст светское слово, попросит митрополита — и останется в городе. Ему дадут и здесь, в Петербурге, небольшой храм. Она будет учиться дальше, как хотела, и окончит курсы. Раз и навсегда он даст ей свое обещание полной, неограниченной свободы ее личности. Никогда, ни при каких обстоятельствах жизни он не позволит себе насилия над ее путями. Он никогда не будет давить на то или иное решение. Он одного хочет — чтобы она стала его юностью и отрадой. Сам же для себя он жаждет одного — принять сан иерея, всю свою жизнь до конца отдать подвигу священства, но своих тягот духовных он не возлагает ни на чьи плечи. Он сам понесет с Божией помощью свой труд. Если она сама захочет и привлечется к его жизни, то будет ему во всем помощницей и спутницей. Не захочет — будет идти одна, да разве он ляжет камнем преткновения на ее дороге!

Так открылись они друг другу. Нина просияла. Какой чудесный ее Павлик! Всюду будет с нею ходить, а в театр — наденет светское платье, в деревню они не поедут. Курсы она окончит через год. А как скромна его просьба — в случае праздников не тревожить его выходами в мир. Тогда она поедет в гости или в театр одна, или с подругой...

Словом, бóльшая, чем была, ясность вошла в их отношения, и все затем пошло, как по-писанному: огласка, сватовство, обручение, подарки, родня... и, наконец, брак, после которого через несколько дней в алтаре послышался торжественный «Аксиос», и он был рукоположен в диаконы, а затем в священники, с назначением на штатное место при маленькой Иверской церкви института. И если эти неизбежные моменты хлопот, многолюдства и грядущей брачной жизни поставили его волю в известные рамки, то не развертывала ли большие мощные крылья за плечами сама любовь!

Потом — вспомнил он в бессонные ночи своего заточения — моменты счастья сменялись целыми периодами нестроения и какой-то беспокойной тоски... Отчего? Теперь сама жизнь подводида строгие итоги, — он не страшился их. Хватало времени анализировать и вспоминать. Мысль прежде всего взметывалась к светлым дням и впечатлениям, где не было никаких «но». Но разве в браке исключены неровности? Не делает ли ссора слаще примирение? Ведь были же такие миги, когда мир господствовал во взаимном общении. Разве Нина не являлась в его жизни радостью, залетной пташкой краткого земного счастья? Ведь он прожил с ней почти 20 лет своей иерейской жизни. Зачем же этот щемящий вопрос «был ли ты счастлив с нею?» И как на него отвечать? Если счастье — покой, он никогда не был покоен.

Если счастье — согласный дуэт двух голосов, то их голоса то и дело разобщались.

И наконец, если счастье — единение на всю жизнь, то и он и она оставались одинокими...

Но если счастье — опьянение, хмель, восторг — да, он был с нею счастлив.

И если счастье — только моменты взаимного общения, то эти миги были пережиты. Иллюзорные и прекрасные, они посещали их. И в краткие минуты таких посещений он радовался и солнцу, и весне, и золотой осени, и ее нарядному новому платью, и тому, что она рядом с ним.

Набеги радости сменялись тревогой, и сначала она касалась главным образом жены. Счастлива ли была с ним Нина? Она жила в постоянной занятости, но по-другому, чем он. Она жила своим трудом и вдохновением от своего труда. Он жил в сфере своей деятельности, в вынужденном, но не принятом душой многолюдстве пастырского пути и настолько поглощался им, что иной раз даже пугался, вспомнив о жене — где же и что же Нина? Тут надо было как-то оторваться от людей и спешить к ней, но оторваться, что ни год, становилось трудней. Уязвлял ее голос: что же ты? Где ты был? Ты опять забыл все на свете?

Она была заботлива к нему, в ее заботе сказывалась не только жена, но и мать — в ней жило материнство, так как Бог не дал им детей. Во время его болезни она отстраняла от него все раздражающее и мешающее ему, и сколь возможно, берегла его занятые домашние часы.

Тогда к чему же такие вопросы теперь, при конце жизненного пути, истязают душу, почему же болезненно стискивает он рукой рано лысеющую голову, думая о ней.

Сестрой-женой она ему не стала... Да он не мог от нее и ждать иного, раз сам пригласил ее в свою жизнь певчей пташкой, или цветком, украшающим его дни. Именно таким чудесным цветком она и расцвела. Где бы ни появлялась молодая пара, Нина завоевывала все симпатии, а он стоял в тени. Был даже рад этому. Особенно в первое время совместной жизни он мучительно воспринимал своих новых родных и знакомых. Слишком честно отрекался он в прошлом от суеты, чтобы спокойно подчиниться новому образу жизни. По-немногу привык, осознал свое новое положение в мире, с молодой супругой. Но полностью принять такую долю и в ней чувствовать себя счастливым и довольным не мог. Точно кто-то заставлял его быть иным, не тем, кем ему надлежало быть, и он шел, как замороженный, по тому зову, что исходил от нее, но его сокровенный внутренний человек не давал согласия на такой исход.

Незабвенным осветилось в памяти первое время. Как дети — и он становился ребенком в свои тридцать два года — они поднимали возню и шум. Вот она уронила стул, схватила подушку и качает ее как ребенка, а он умиляется от ее материнских движений. Вдруг гаснет лампада от взмаха ее руки — он сейчас же снова зажигает фитиль, она тянет его к себе за рукав, еще одно неловкое движение — снова гаснет огонек. «Пусти меня, Нина, нехорошо!» Он пытается снова зажечь, но розовая, горячая щека касается его щеки, мягко нежит его ухо волнистый шелк ее волос — рука падает... Можно ли забыть то время, чудную их весну?

Но в памяти его остается и иное. Вьюжный, снежный январь третьего года их совместной жизни. Она садится к окну со своими тетрадами и замирает, как мышонок. Теперь никто и ему не мешает отойти от ее бытия в свою глубину. Перед ним — Добротолубие, и он целиком уходит в тот мир, в котором привык жить с детства: «В пустыне Нижнего Египта безмолствовал авва Иосиф... Однажды посетил его авва Лот и сказал ему: "Авва! По мере сил моих я исполняю малое молитвенное правило, соблюдаю умеренный пост. Стараюсь соблюдать чистоту, не принимая греховные помыслы, что мне надлежит еще сделать?"»

Старец стал на молитву и простер руки к небу, и персты его сделались подобными десяти огненным свечам. И сказал он авве Лоту: "Если хочешь — будь весь огнем".

Иерей Павел читал, и сердце прежнего инок горело в нем подобно десяти огненным свечам аввы Иосифа. Все уходило от него, кроме священной чудесной были. Бесшумно принимал передний угол комнаты высокую фигуру человека, отходящего к божнице. Он становился на колени, читал молитвы перед отходом ко сну, слезы капали из глаз его на новый подрясник, долго ли, коротко ли продолжалось это, знала одна только Нина. Он помнит, как внезапно ее рыдания огласили комнату. Он оборачивается — тетради разметались по полу... Она, свернувшись в кресле клубком, горько плачет. Он подходит, испуганно, недоумевая — что случилось? Что с ней? Ее голос дрожал в слезах и негодовании: «Ты меня забыл!»

Путник в страну Ханаанскую

Яснее чем когда-либо понимал он теперь, какое переживалось им в жизни большое, теперь уже отходящее в небытие, полузадушевное чувство. Он любил ее не только супружеской, но особенной, отличной от общего понимания любовью нежного отца ко взрослой дочери, да и годами лет на четырнадцать она была моложе его. Он не мог бы сказать, что годы совместной жизни со своенравной красавицей-женой не дали ему терния на пути, но все же почти двадцать лет они прожили вместе. Приходилось уступать. Раньше он снисходил к этим уступкам, почти не вменяя их себе в вину, но сейчас всякий компромиссный шаг больно уязвлял совесть.

Воскресенье... Ложа у знакомых... Два места. Их зовут. «Я не пойду без тебя», — говорит она ему. «Я не пойду без него», — отвечает по телефону и знакомым. «Воскресение!» Пусть это Чайковский, Глинка, Рубинштейн, но он бывший инок в своей внутренней жизни, а теперь иерей... Какая музыка может восполнить сегодня, после завершенной им Лигургии, его душу? Но он идет; она молода, она хочет «всюду с ним», ее обещание не нарушать праздника — забыто. Он переодевается и идет с ней в театр... Итак — уступка, сначала в малом, потом во многом, наконец — во всем, во всем...

Годы шли. После маленького храма при Институте — большой приход. Он, уже митрофорный, служит там штатным протоиереем. Он понемножку полнеет, страдает одышкой. Он — любимый пастырь. К нему стягиваются все — юноши, дети, старики. У него много духовных детей и одной из них является родная племянница Аля, дочь сестры Маши, той самой сестры, с которой он когда-то ребенком уходил на богомолье.

В ближайшие годы после октябрьского переворота Церковь переживала особое время расцвета и подъема. Казалось, что она расширилась и созидалась на долгие годы мира и духовного роста. Никто не думал о ближайшей перемене. Забила ключом приходская жизнь. С одной стороны, организовывались братства, с другой — являлись талантливые проповедники, привлекавшие массы религиозного и ищущего смысла и цели жизни народа. Детские елки, собрания по домам, доклады и диспуты так и рождались в удивительном этом периоде. Казалось, что кто-то развязал все узлы и освободил от уз религиозную мысль. Лучшие имена профессоров-богословов заблистали на вновь открытых курсах. Западные и протестантские общины не отставали. Везде цвела свобода религиозного слова, свобода собраний, братства, общинной жизни...

В семье протоиерея Павла тоже стало радостно и открыто. Молодежь собиралась по четвергам для совместного чтения Добротолюбия, для разбора творений епископа Феофана и докладов. И когда он возглавлял собрание, Нине казалось, что она снова его ученица, что они снова с ним стоят на площадке гимназической лестницы. Постепенно она стала прислушиваться и даже присоединилась к молодежным собраниям, однажды даже написала доклад, он оказался одним из лучших...

— Возьми, Нина, шефство над Алечкой — она рвется к неосмысленным подвигам! — шутил над племянницей отец Павел. Алечка не была расположена к шуткам, даже дядиным. Дядю своего она обожала.

— Причем подвиги? — темные брови девочки сдвигались. — Я про то говорю, что надо или все, или ничего! Или иди до конца, или стой на месте!

Все замолчали тогда за столом, и только он, прежний Павел, сознавая глубинную чистоту и рвение Али, задумчиво сказал ее сторону:

— Верно, Алечка...

В те годы он никак не мог подумать, что она, его ненаглядная Нина, несколько лет спустя так же легко может войти в антирелигиозное течение, как легко входила в доклады о Феофане и Симеоне... Но это случилось, и так же свободно, и с той же активностью, с которой в первые годы брака она составляла проповеди вместе с мужем. Вскоре она начала писать статьи в журнал, редактировала вместе с двумя педагогами новую хрестоматию, в один момент организовала у себя в школе уголок

безбожника, держа себя перед детьми новым, воинствующим против Творца человеком.

Теперь у Нины свой круг знакомых, у него — свой. Четверговые собрания молодежи отменены — нельзя. Нина не ходит в храм, где служит он, — нельзя. И муж не стал показываться с нею вместе, даже в светской одежде — нельзя. Все тверже и строже ставили ей в школе на вид его протоиерейство. А школа делалась для нее роднее, с ее новым укладом и новыми людьми. Все туманнее становился свет лампы, та лучистость прежних лет, первого времени брака, когда она со своим ненаглядным, новым «батюшкой» составляла проповеди для воскресной школы. Он вспоминает оттиски маленьких серых эскизных экземпляров. Это печатается его «Мистика Симеона Нового Богослова». Он — в печати? Он — одно целое с незаметным, незнакомым для мира рядом священников-философов, писателей, поэтов. Ходко пошли серенькие экземпляры по рукам религиозной молодежи. А он тайно и много пишет по ночам, в то время, когда Нина спит, отдыхая от своих занятий с учениками.

Как же, однако, начался между ними последний разлад? Им не дано было детей. И не он ли сам насадил в ней любовь к ученикам и детям? «Перенести свою материнскую заботу о малых сих» на детей своей родины, на будущих людей, на новую смену. Не он ли сам внушал ей такие взгляды? Он верил, что для этих детей, воспитанных в безбожии, откроются иные пути Богопознания, мудрейшие и особые: жизнь невидимая, но сущая будет проявляться перед ними в намеках и знаках, сопоставлениях причин и следствий, течением самой, казалось бы, реальной и видимой жизни.

Примиренчество мужа раздражало Нину. Она всем доказывала веско и убедительно, горячась и раздражаясь, что школа не может и не должна быть иною...

— Что значат слова «мы подчиняемся духу времени!» Что значит «мы идем ко многому иным подходом»? Какой такой «иной» ты видишь подход? Что в тебе за «тайнодействие» против очевидностей? — так волновалась Нина, когда они, оба усталые, наконец-то могли остаться наедине. — Для тебя новая школа какой-то новый крест, проблема, которую ты должен как-то терпеть, как-то иначе понимать, чем она есть на самом деле. Для меня же школа наших дней — это жизненная правда, иного пути для ребят после революции быть не может, другие пути устарели.

— Даже вечный Бог? — защищался он. — Творец всего мира тоже устарел?

Она и пыталась отвечать, но какое-то новое, для нее непонятное волнение мешало ей. И наконец, освободившись от смущения, вскочила разом, прошлась по комнате:

— Теперь, Павел, творим мы! Теперь наша очередь творить и созидать... Мы создадим новый мир, прекрасный — для всего человечества, его примут все, он разобьет рутину, закоснелость, узость.

— Значит, ты... отходишь? Если не принимаешь Его помощи! Как понять тебя, Нина?

— Я не знаю, как себя понять; сейчас, может быть, это и верно, отхожу, но ты, ты — передовой человек, философ, и ты не можешь уяснить законов динамического движения всего мира...

Он горько усмехнулся.

— Все, что ты хочешь, но не называй меня «передовым». Теперь я — изгой, отщепенец от общества и прежде всего я — священник. Мне даже странно, что ты так волнуешься от моего мнения. Тебе творить эту новую жизнь, не мне. Я ни на йоту не намерен отойти от своего пути и от веры в действие Промысла. Я вполне понимаю, что ты не можешь принять такую линию против своего внутреннего убеждения, в силу обстоятельств, в силу законного порядка в той же школе... но, воля твоя. Верить в то, что ты начисто отрекаешься и вместе с Петром произносишь: «Не ведаю Сего Человека» — нет! Верить в это не могу! Я знаю твое сердце... Я надеюсь, что оно подскажет тебе, где шатко и валко, где правда и кривда.

Гладил ее по мягким волнистым густым волосам с еле заметными в них серебряными нитями.

— Вот уж подлинно, ты как Нафанаил, в котором нет лукавства!

Жизнь ломалась, требовала жертв. Шел очередной вопрос о выселении духовенства из квартир. Священники в первую очередь оказались глубоко пораженными в своих правах. Чем виноваты их жены, принимающие легко и сразу же то, что так неприемлемо для них? Он по-прежнему, но еще и гораздо глубже и болезненнее любил ее. Ценил ее бесхитрость и прямоту. Извиняя ее резкость и запальчивость, видел только чистое сердце. Верил, наконец, что она по-прежнему любит его, продолжает любить. Но рысы он никогда не решился бы снять самовольно. Никогда не отказался бы от сана. Даже если бы закрылся тот собор, в котором он служил, подобно многим церквам, уже окончившим свое существование.

Все же он решился и пошел потихоньку от нее в ЗАГС. До этого шага передумал о многом... как хорошо будет ей освободиться от его смешной и нежелательной для современного общества фигуры. Свободная, пусть идет, куда хочет... с кем хочет... Он никогда никого не стеснял, тем более — ее.

В ЗАГСе молоденькая девушка, сидевшая за столом разводов, спросила его о причине. По-детски смешон был вопрос, обращенный к пожилому, внимательно смотревшему на нее человеку. И совсем просто, по-детски отвечал он ей:

— Жена у меня молода, педагог. Ей надо жить и работать. Я не хочу мешать ей ни видом своим, ни профессией.

Справка о разводе пришла скоро, положена на ее стол.

Вот она вернулась с уроков. Сначала протест. Даже слезы.

— Что ты наделал? Я не упрекала тебя никогда. Кто тебя просил? Как все это глупо.

Но после краткого, вполне спокойного и такого веского его объяснения, она поняла, как он прав по отношению к ней, как необходим был такой решительный шаг и стала солидарно с ним мыслить. Что тут, в самом деле, плохого? Во-первых, их объединила девятнадцать лет назад Церковь, не ЗАГС. Затем, все жены священников, которым надо работать в школах, разводятся со своими мужьями. Общественно она должна стать совсем свободной от его жизни, наконец, сейчас у нее нет никаких противоречий с тем, что он надумал сделать. Он только поставил точку в том, о чем она часто думала неосознанно, в чем не смела сознаться. К концу дня справка о разводе была принята ими обоими добродушно и анекдотически. Жизнь продолжалась, будто ничего не случилось...

Пустыня

Всенощная отошла. Он вернулся домой и не спеша снял шубу в прихожей, вошел в свою комнату. Бывало, она ждала его в субботу с горячим чаем. Ее еще нет. Он идет на кухню и сам разжигает примус. Когда готов кипяток, снова по коридору к себе. Сидя за столом, глядит в свой святой пустой угол. Еще так недавно тут освещался лампадой старинный киот резной работы, блекло принимая отсвет огонька. Все иконы вынесены отсюда в комнату его матери, частью — в кухню, частью спрятаны в сундук. Сюда ходят пионерки с тетрадами, здесь ее навещают сослуживцы. Естественный ход событий! Ведь она с ним разведена теперь!

Домой приехала поздно, с последним трамваем. Вбежала в комнату прежней девочкой, румяная от мороза, веселая, как в минувшие дни, готовая шутить, смеяться...

— Где мой разведенный, брошенный муж?

Встал, улыбаясь, отложил книгу, которую читал. Это был Дамаскин, об Ангелах. Да, он только остановился на главе об Ангелах: «Суть духи легкие, стремительные, со способностью от Бога перелетать великие расстояния, они не всеведущи, но, обладая некоторой ограниченностью познания, они в сие же время имеют дар повиновения и любви к Своему Творцу...», — только что прочитал он.

— Где мой муж дорогой, мое сокровище? Скучал? Как я соскучилась по тебе, так долго тянулось заседание...

Какой же это развод? Кто кого обманул и перехитрил в такие минуты? Не стоит ли он снова учителем в штатском платье на гимназической лестнице, не ждет ли ее, свою невесту?

Момент, один лишь момент какого-то тесного, мелькнувшего взаимообщения и нежности, а затем по-прежнему — чаще и чаще — один. Придет от всенощной, обедни, либо со своих треб, сядет один, подпирая голову руками, и думает одно и то же: «Она сама по себе, а мой путь сам по себе... Разведены... Тлеющий призрак бывшего счастья, человеческого счастья, отойди от меня. Сгинь... Твори, Боже, волю Твою, единственную Твою...»

Любовь... Может быть, она и существует, теплится, то пропадая, то вспыхивая прежним огнем, но вот — его книги! Сколько их у него! Сколько памяти от дорогих лиц. Как он любит свои книги, — в них особая жизнь, говорящая и всесозидающая, ведомая ему одному. Вот Дамаскин, вот Златоуст, а вот и тяжелые, темной кожи переплеты Добротолюбия. Близок ему Тихон Задонский, своим очень старинным языком заставляющий трепетать обновленные сердца. А великий писатель петровской эпохи святитель Димитрий? В строгом порядке расположены по полкам Четьи-Минеи. Кое-где воткнуты или грудками приложены к большим маститым трудам религиозной мысли маленькие с наивными рисунками, крупной и мелкой печати брошюры и книжечки. То описание лесной пустыньки, то рассказы о чудесах Святителя Николая и Архистратига Михаила, то сокращенное житие Преподобного Сергия... И все эти маленькие книжечки-рассказики прочитаны им, ведомы ему... без них нельзя. Они, как чудесный бордюр из ароматных фиалок, окаймивший клумбу из великолепных штамбовых роз. И, наконец,

его первые учителя — Симеон Богослов и Феофан Затворник. Последнего он особенно чтит и ценит за его яркий и доступный всем язык, за близость к жизни, за любовь к малейшему созданию. Какое реяние к Горнему! Какие парящие крылья!

Теперь вся библиотека вынесена в коридор, под холст. За каждой книгой, что понадобится, идет он через ряд квартирантских сундуков к нише, задернутой холстом, и с маленькой восковой свечечкой ищет книгу. А затем забота, чтобы не забыть ее в комнате и снова вынести в коридор. А если она, как несколько дней тому назад, найдет книгу и раздражится на его неаккуратность — снова забота: не смутиться духом, а с сознанием своей оплошности, в непомраченном мире, вынести ее снова под холст. Ведь ей теперь надо писать новые книги, другого духа, ее только сердят эти когда-то близкие томики и брошюры.

Теперь она часто работает даже по ночам и, случается, внезапно, нервно говорит мужу:

— Послушай, Павел, помоги мне... Друг ты мне или нет?

Он старается отойти, извиняется тем, что не в курсе дела.

— Проредактировать мне, расставить знаки препинания — и то не можешь? Ведь всегда мне помогал. А теперь? Что я — бесчестное дело творю? Краду? Убиваю? Я работаю для просвещения молодежи... Я не виновата, что мой муж не разделяет моих трудов... Я не думала, что он станет узок...

Да, несомненно, она, как тот ученик, в котором не было ни тени лукавства. Господь видит таких под смоковницей. И он встает и садится проверять и корректировать ее общий с двумя педагогами труд, новую хрестоматию. Голова к голове работают они вместе, как в дни былые над его проповедническими тетрадиями.

Болезненно он дотрагивался сейчас, в своем заточении, до самых последних годов той жизни, от которой был стихийно оторван. Годы эти не прошли даром, а заставили его много перестрадать и углубиться в свой мир. Несмотря на загговскую бумагу, его жене ставили на вид, что она скрывала свое сожительство со священником. Нина Васильевна занимала место народного педагога — все глаза обращены на нее. Теперь уж она не только не возмущалась против развода, как в первую минуту, — она скрывала мужа от посторонних глаз, как преступника. Что ни вечер — к ней приходили ученики и педагоги. При первом же звонке он поднимался и проходил в кухню. До него то и дело доносился смех и молодые голоса. Он, который так любил молодежь, лишился прав общения с нею.

Его пониманию было несвойственно точно делить людей на плохих и хороших, верующих и неверующих, потому что, так говорил он, веруют все, но у многих не выявляется еще, во что верить? В кого? Как? Он только знал, что ему нельзя там сидеть и вступать с ними в разговор, даже самый примитивный, безотносительный. Он называл себя жене «твое чудище в рясе», — могло ли такое «чудище», которым страшили, появиться среди этих враждебно настроенных подростков? И он сидел в полутьме при высоко подвешенной, слабой лампочке, с книгой или проповедью в руке; а иной раз дремал в ожидании, когда уйдут. Такие изгнания на кухню стали делом привычным. Раз квартирантка из смежной с кухней комнаты заметила, что батюшка дремлет над книгой и зазвала его к себе. Ребенок спал, разметавшись на кровати. В чужой комнате на него пахло уютом и любовью семейного очага. Мать быстро приготовила чай, угостила батюшку печеньем. Что-то внутри быстро отогревалось — ему стало всему как-то впору. Молодая вдова говорила о своей жизни доверчиво, исповедно. В этой небольшой комнатухе он увидел уголок настоящей жизни, теперь ему недоступной. Простая женщина хранила бодро и безбоязненно свой мирок, горела лампадка, мальчик спал под осенением креста и икон. Одиночество пастыря исчезло, сменилось теплом и лаской. Но с тех самых дней чаще и чаще начал думать он о своей разведенной бумажке с Ниной и придавать ей особое значение. Предчувствие какого-то грядущего бедствия не оставляло его. «Что я — суеверная баба что-ли? Что я тогда сделал справкой о разводе? Что я мог прибавить или отбавить от нашей общей чаши? Ничего!»

После смерти родителей у протоиерея Павла осталось мало родни — только сестра Мария, с которой он когда-то пытался уйти на богомолье; она рано овдовела и жила с единственной дочкой Александрой, той самой Алечкой, которая мечтала о подвигах и писала доклады о Феофане, когда можно было собираться на квартире у дяди. Был еще брат намного моложе отца Павла, Арсений, глазной врач. Ох, уж этот мне Арсений! — вздыхал бывало Павел. Арсений всю жизнь свою балагурил, шутил, как заправский шут, однако же врачевал в области, был религиозен, направлен на высокий лад, как и все в их семье, но абсолютно не семеен и не способен ни к какому простому жизненному делу. Есть справедливость, есть знания по части глаз — и ладно. А дома можно пить из одной чашки с котом, не мыть ежедневно посуду, вытирать нос неподрубленной тряпочкой и с великим трудом собираться в баню.

Женщины любили Арсения за шутовство и острый язык. Многим из них он внушал жалость, простирающуюся до решимости жить с таким чудачком. Но долго он почему-то не оставался в семейном положении — опять заживет холостяком, появляясь на горизонте семьи отца Павла, чтобы несколько раз у него пообедать. Павел по-братнему любил и жалел Арсения. Кроме того, высоконастроенный ум его пытался объяснить поведение чудачка-брата юродством. Самые простые, даже мелкие дела, которые всякий средний человек доводит до конца, у Арсения оставались недоделанными и брошенными, хотя он и посягал на них в первую минуту.

— Арсений, нельзя же только знать «глаз» и ничего больше, — возмущался Павел. На это Арсений ткнет себя пальцем в грудь и произнесет известный текст: «Светильник для тела есть око».

Что касается до Алечки, Машиной дочери, то она выросла в тесном единении с отцом Павлом и его женой — и жили близко, и отец Павел с Ниной, не имея детей, привязались к ней, как к дочке.

Але было восемнадцать лет, она училась в техникуме, в свободные часы ходила в церковь или писала в своих тетрадках-дневниках. С одного конца записывала лекции, с другого — свое собственное, причем начальный лист тетради окаймлялся узорчиком из звезд, квадратиков, цветов, посреди ставилось заглавие, например: «Знание и Вера», «В чем Смысл жизни» и т. д. И Аля с головой уходила в самоанализ. «Я тогда кончу дневник, когда меня не станет!» или «когда я достигну полного самоопределения в мире!», — так говорила она матери, с которой была отчасти откровенна, но всегда искренна. Как и во многих дневниках, первые строки спрашивали: «Что такое я представляю из себя нынче?», и далее следовали несколько горделивых мыслей о своем одиночестве и отчуждении от людей, от которых она ничего не ждет и никому не веряется... В дальнейшем шло глубже и проще: «Хочу выявить правду и послужить ей. Я люблю всех и хотела бы всем сделать много добра». И, наконец, в одной из тетрадей, озаглавленной «О моей духовной жизни», Аля писала: «Я стала верить сознательно. Господи, скажи мне путь в онъ же пойду, яко к Тебе взях душу мою!»

Аля горячо любила свою мать, слушалась ее во всем, но свою полную откровенность она отдавала только дяде. Она обожала его той особой привязанностью молодой и чистой души, которая не ведала еще страсти и не испытала ее мучительства и страдания. Эта любовь, родившись в ее сознательных одиннадцать, уже вполне

церковных лет, никогда ее не оставляла, а как бы взяв руку, везде, где только можно, отводила от всякой горечи, направляя все лучшее, что в ней было, к еще более лучшему и высокому. Счастливое духовное дитя богато одаренного пастыря, она не знала иных исповедей, как только у аналая, где он предстоял. В ее душе не оставалось ни одной заминки, ни одной царапинки, которая не была бы открыта перед ним, «ее батюшкой». Он знал всю «внутреннюю» Алю так хорошо и видел ее так основательно и ясно, как увидел когда-то — на один момент и на всю жизнь — свою Нину, когда она в пустом классе рассказывала ему всю свою молодую повесть, и он, очарованный открытостью и простотой, сказал себе самому: «Подлинно Нафанаил, в котором нет лукавства».

Однако и Аля не была Ниной. В ней рано проявилось стремление к духовному, и жизнь не манила ее своими обещаниями и горизонтами, как Нину. С самых ранних лет дядины книги и его склонности стали и ее книгами и склонностями, и она устремилась к овладению «Отчизной неизвестной». Отцу Павлу не стоило больших трудов направлять такую душу и развивать ее богатые возможности. Но при всей своей высоте образа мышления девушка обладала излишней горячностью, почти эмоциональностью — такие же свойства владели ее покойным отцом. То ей приходило на ум все раздать и куда-то стремглав уйти ото всех людей и знакомых, то она начинала урезывать себя в самом необходимом, так как ей это казалось важным... Закрытие церквей и обителей не дало ей возможности раннего иночества, да и ее дядя мудро сдерживал ее порывы, направляя девушку по среднему пути.

Субботняя всенощная Второй недели Великого поста окончилась. Аля пробралась к аналою, за которым отец Павел только что начал исповедь. Говельщики столпились у левого клироса. Он стоял чинно и строго в своей траурной епитрахили, с серебряными крестами, со склоненной головой. Алечке, как и прочим, сказал: «Пожалуйста».

Аля подошла и начала шептать. Белый беретик девушки касался его уха.

— Да что ты находишь в этом ужасного? Расскажи.

Все ниже голова священника над Евангелием, все горячее Алины слова.

— Но что, девочка, что же ты находишь худого в таком благо-разумном шаге? Зачем обвинять нас в этом ненужном разводе? Благодаря происшедшему тетя Нина свободна от нареканий. Я, я сам это сделал и не раскаиваюсь.

— Ты это сделал, батюшка, и, делая это, взял на душу грех... Но я же не имею права... Прости меня...

— Говори, все говори. Мы с тобой сейчас перед Богом, Аля.

— Ты забыл, дядя, что соединил Господь, того человек да не разлучит.

Он даже улыбнулся.

— Да чем же мы-то разлучены с ней? О, Боже мой! Мы по-прежнему...

Он даже смутился. Опушены глаза, углы рта... «Мы по-прежнему с ней вместе».

— Родной мой, родной батюшка! Как же ты не понимаешь? Ты, ты! Что один малейший намек на разъединение в браке или в чем ином, ну что-либо маленькое, касательно только человеческого закона или формальности, не может пройти мимо, скользнув безнаказанно в ином мире. Мы не дети. Я не обвиняю, как я могу, или кого могу винить? Тебя? Тетю? Я сожалею, но это начало конца. Какого? Не знаю. Конец чему? Тоже не знаю. Но, когда человек сделал шаг к разделению — оно будет завершено. Я не верю, что в загсовской бумажке сверхъестественная сила, но нет ничего в наших движениях здесь, что не повлекло бы за собой движения в духовном мире... Пойми... Но кому же знать это, как не тебе? Прости меня. Я же — не смею.

Молчание в ответ... И затем переход:

— И еще что у тебя на душе лично? Говори. Чем смущаешься, кайся...

Через минуту вздох, рука его через епитрахиль легла на белый беретик, на ее склоненную голову.

Развязка

На улице падал мягкий, слегка метельный снег мягкими хлопьями. Опираясь на любимую палку, вернулся домой по запорошенным улицам.

Он вошел, жена выходит:

— Куда так поздно, радость моя?

— К Лаврентьевым. Разве забыл? Завтра культпоход. Мы будем работать до двух. Не запирайся на цепочку. Надо составить объяснительную лекцию...

Он тихо, не отогнав своего покоя, прошел в комнаты. И запах ее духов не взволновал грудь. Этот аромат реял в воздухе, как

пришедший с ним оттуда, из храма, не отягчая сердца одиночеством, а помыслы — женщиной. Перекрестился в пустой угол, где столько лет светила у киота лампада. Как давно его сердце ждет покоя! Как пели сегодня «Ныне отпускаеши»! Какой мир сходит в его душу, несмотря ни на что... Но он, такой как есть, — помеха жене. Помеха ее занятиям, всей перестройке жизни. Раз навсегда, круто, напролом перегнула она палку, отойдя от старого к новому, вплоть до уголка безбожника, до лозунга «Долой религию».

«Что же это такое? Как случилось? Не вмени ей как отступничество!» — молит он, подыскивая оправдания. Но если отступила она, то разве не отступил с самого начала и он? Разве он не отступник в мелочах семейного быта, разве не обличали его не раз и не два люди за театр, за кино, за поблажки миру? Ему легче, чем Нине. Он хоть остался в своей рясе, не изменил своему сану, и потому он то, что есть. Она — ломовая лошадь, везущая груз жизни, свою телегу с ворохом того, что на нее наложили люди... и он, в числе ее груза, увеличивает его в своей рясе с крестом на груди.

И Нина снова вырастает в его сознании. Она ширится и растет в большой образ, претворяясь в чудесную сущность светлостью озаренного свыше ума. Ведь это ради него и его благоустройства несет она свой учительский подвиг. Объяснение пришло, и еще раз их совместная жизнь окрашивается в радужную окраску оправдания и понимания.

В конце Третьей недели поста ему поднесли крест.

Очень часто во время служб гасло электричество, и, когда подносили крест, свет исчез. Тихо и настороженно стало в храме. Подарок засиял аметистами на груди, в темноте, при маленькой лампадке еще ярче, чем при свете; он благодарил прихожан за символ лучшего небесного дара и по окончании службы обратился к народу со словами о кресте.

Он говорил о сладости страдания. О том счастье, которое дается только крестом и через него. Вихри улеглись. Не стало ни дома, ни жены, ни забот. Разостлалось необъятное пространство жизни, как бы пустыня солончаковая. В нем все высохло, как от необычайной жажды. Узкая тропинка вела наверх по изгибам скалистых гор — наверху сиял крест. Лишь бы дойти до него! Ведь на верху горы казалось гораздо больше домов, и, конечно же, больше родного дома, оставленного внизу ради любви крестной. За крестом блистали обители кротких и терпеливых, там ждал спутников Сам Властелин Любви. Он протягивал к ним руки. На Его челе розовели

небесные цветы вместо терновых игл, и таким чудным видением наполнилось все! Исчезла боль, не стало жажды, позади оказались горячие пески и нестерпимый зной пустыни, не горели больше ноги от солончаковой потрескавшейся земли, опаленные уста за- были о воде — лишь бы дойти до вершины горы!

В храме темно, глуховатый старичок слушал у самой кафедры, приставив к уху рупором руку, а из глаз его живо одна за другой катились слезы... У бокового подсвечника горела восковая свеча. Голос проповедника пресекался, моментами то там, то здесь в толпе слышались сдавленные рыдания. Слово кончено. Аминь!

И он прошел к северным дверям алтаря, придерживая на груди рукою свой подарок, что так и переливался аметистами.

Весна потихоньку дула теплым дыханием на березки, и они покрылись еле заметным изумрудным пушком к самому началу Страстной: Пасха была поздняя.

Во многих церквах колокола сняли, и Великие службы шли под шумок обычных дней, без призывов к молитве. Он спешил к часам Великой Среды. Стоя над Евангелием в своих траурных ризах, погружался всецело в ту жизнь, почти как двадцать веков назад. В глубоких истоках ее омывался любовью и, весь в любви, читал людям о любви.

Радостно нес свою череду, почти не выходя из храма, к чему-то готовился. К чему — сам не мог распознать. Слишком был занят, чтобы осознать свое, даже духовное, но что-то звучало: «Свет идет». Дома наскоро пил чай, ложился усталый, с болью в пояснице и отекающих ногах. Сквозь сон слышал, как жена с подругой читали свою хрестоматию.

В Неделю жен-мироносиц возвращался с требы — панихиды по стареньком заштатном священнике... и недалеко от дома столкнулся с женой.

Плыл весенний вечер с теплым, но сильным ветром, и по улице крутились и взлетали бумажки... Давно не было дождя. По дороге их заманил к себе маленький скверик, тихий, нелюдный. Они сели на скамеечку, как не было давно, взяли друг друга за руки, и он с нею забыл сразу все — то, что он в рясе, идет с требы, что их могут увидеть. Забыла, видимо, об этом и она.

Стало так, как раньше, и то, что вспыхивало между ними недочетами и недомолвками, скрылось под зеленым навесом березки. Вокруг роилась весна, и на душе стало, как прежде: отрешенно, свято и чисто.

— Я тебе еще не сказала, — вдруг заговорила жена, — что меня вызывали к следователю. Насчет тебя... Спрашивали, знаком ли ты с профессором Х. Я сказала, что знаком. Как же иначе? Вы с ним преподавали вместе на курсах. Но, может быть, я не должна была говорить?

— А как же иначе? — отозвался он. Оба молчали. Вопрос о знакомстве с профессором не задел его никак. Громко чирикали воробьи. Девочка в красном платице капризничала и, топая, бегала за нянькой. «Сейчас я сознаю Пасху!» — хотелось ему сказать, но он сдержался, благодаря отвычке говорить с ней языком духа. Он только ощутил влагу на своих глазах и отвел их в сторону. Помолчали. Вдруг она резко отодвинулась от него. «Посиди немного — там идет моя ученица, мы пока незнакомы». Она быстро пошла навстречу ученице, он, слегка сгорбившись, остался сидеть под деревцем на скамье.

Вдалеке гудел трамвай и тревожно звенел, скатываясь с моста. Бирюзой и золотом светилась мозаика мечети, наступал вечер, сильнее проступал сквозь сырость запах тополя и березы.

— Идем, Павел, домой, — сказала ему жена, вернувшись. — Сыро! Так редко бывает, что проведем вечер, как люди. Ты мне считаешь вслух, не правда ли?

Он хотел сегодня заняться другим чтением, но наплыв нежности к ней и готовности сделать ей то, что она пожелает, вызвали моментальные слова: «Все, что ты хочешь, моя родная».

Она взяла его под руку, убивая тем самым то неприятное, что рождалось при их невольном разъединении в присутствии людей.

Перед своей дверью оба вместе вынули свои ключи, причем, она, смеясь, отстранила его руку, чтобы открыть своим, но ее ключ изнутри столкнулся с чьим-то противодействием — кто-то предупреждал их вход.

Перед ними стоял безупречно одетый человек с бритым лицом и военной выправкой, несмотря на штатское платье. В дверях их комнаты — управдом.

— Входите, граждане, — послышалось в меру радушное приглашение. — Мы вас беспокоим, но что поделать... Вы — ваша фамилия? — проверил он тотчас же и подвинул стул. — Вы сядете сюда и не будете двигаться, таков порядок. Мы должны окончить обзор ваших книг.

Холст был отдернут, книги россыпью лежали уже на полу. Два чиновника бегло перелистывали Дамаскина и Феофана... Квартинка с болезненным ужасом смотрела на всю картину из кухни.

Дальше все шло, как обычно. Ему предложили следовать за ними, взяв узелок с подушкой и всем крайне необходимым, так как они точно не могли сказать, сколько времени продлится его... отлучка...

С ним были так любезны, что предложили даже закусить перед отъездом. Он помнит — у Нины дрожали руки. Они оба сели за стол и под неусыпным наблюдением посторонних глаз выпили по полчашке теплого чая... Для виду только? По послушанию ли? Или чтобы подольше побыть вместе?

Он так давно втайне мучился раздвоением, разладом своей духовной жизни, что арест его не испугал почти. В том, что произошло, он ясно увидел мудрость, в нем процвело озарение мысли: «Вот она, вот... развязка всего...»

Машина везла его через два моста и знакомые улицы в то здание, двери которого захлопнутся за ним на неопределенное время.